

М.М.Яковенко **Зоя Ге** Документальная повесть

М.М. ЯКОВЕНКО
ЗОЯ ГЕ
Документальная повесть



*Светлой памяти
внучки Зои Ге – Ольги Севастьяновны
и Николая Николаевича Кузнецовых
посвящаю*



*Зоя Григорьевна Ге, в замужестве Рубан
(1861–1942)
Фотография 1900-х годов*

М. М. ЯКОВЕНКО

ЗОЯ ГЕ

Документальная
повесть

Москва
Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья»
2006

**ББК 84(2Рос=Рус)
Я 46**

Издательская программа Общества «Мемориал»

Редакционная коллегия:

А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова,
Т.И.Касаткина, М.М.Кораллов, Н.Г.Охотин,
Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский (председатель)

ISBN 5-7870-0090-0

© Наследники М.М.Яковенко, 2006

© «Звенья», 2006

Доктор Завадовский

Cartes postales

Зима. 1958 год. Фойе Киевского театра оперы и балета. Круглолицый, в очках, крепко сложенный иностранец с переводчиком... французская речь...

Мой муж, Игорь Аркадьевич, подталкивает нашу десятилетнюю дочь Олю к иностранцу:

– А ну-ка, поговори по-французски!

Оля робеет, прячется за спину отца, но вот он ее вытолкнул, и она оказалась на пути француза.

– Бонжур, месье, – лепечет она.

Француз останавливается. Сразу взрыв восторга. Он экспансивен, эмоционален, заразительно весел:

– О, моя маленькая, ты говоришь по-французски!¹

Оля кое-как подтверждает (она учится во французской школе, но они только начали изучать язык) и в доказательство поет французскую песенку. Француз записывает ее адрес.

А затем... начинается для Оли сказка. Через месяц приходит огромное письмо с чудесной репродукцией Страсбургского собора. Затем письма из Алжира, Марокко, Японии... Со всего света летят к ней открытки.

¹ Здесь и далее французская речь приводится в переводе на русский язык.

Наши знакомые поражены и, надо сказать, обеспокоены. Высказывается даже предположение: уж не шпион ли он?

Но вот на одной открытке разобрали подпись: *секретарь CGT Жан Шефер*. Нашли по справочнику: «CGT», «ВКТ – Всеобщая конфедерация труда» – крупнейший левый профсоюз Франции. Один из его секретарей (по социальному обеспечению) – Жан Шефер.

1961 год. В Москве должно состояться заседание Всеобщего Совета Мира. Приглашены представители миролюбивых сил всех стран.

И на этот раз приходит открытка уже из Москвы. Смысл таков: перед заседаниями у меня четыре свободных дня. Мне хотелось бы с тобой повидаться. Живу в гостинице «Москва», такой-то номер, такой-то телефон...

Открытка ровно четыре дня шла по Москве. К моменту получения свободные дни Жана уже истекли, дальше ежедневно должны были проходить заседания.

Но мы решаем: обязательно встретиться. Неужто он не сумеет вырваться?

Наши знакомые разбиваются на два неравных лагеря. Большинство ужасается:

– Как? Пригласить к себе иностранца? Это же опасно! А вдруг если даже и не шпион, то какой-нибудь враг Советского Союза? За каждым его шагом следят! Смотрите, будут у вас неприятности!

Но мы не хотим слушать! После двадцатого съезда и массовой реабилитации нами владеют светлые

надежды. Нас поддерживает меньшинство: обязательно пригласить!

И, чтобы не ударить лицом в грязь перед *таким* гостем, не опозорить Советский Союз тем, что живем мы в деревянной развалюшке, все в нашем жилище преобразовать!

Если только еще не поздно, если только у него еще есть время!

Звоним в гостиницу, объясняем: открытка пришла только вчера. Сможет ли Жан Шефер прийти к нам сейчас, когда заседания уже начались?

Он очень рад! Он сможет! В воскресенье, в 18 часов, он придет к нам!

Начинается «лакировка действительности». На полках остаются только книги с красивыми переплетами, штопаный-перештопаный диван закрывается украинскими плахтами (плахты эти – единственная ценность, какая есть у нас). Взяли в бюро проката пылесос, еще до перестановки книг и маскировки дивана – все в доме пропылесосили до стерильности. Там же, в бюро проката, берем посуду – красивый сервиз, ложки, вилки, ножи, блюда, фужеры, рюмки.

Близится 18 часов воскресенья. Дети – Оля и ее двоюродный брат Володя – уезжают к гостинице «Москва», где у входа их будет ждать Жан. А чтобы они узнали его, он будет держать в руках номер французского журнала «Ероque» («Эпоха»), редактором которого является.

Испуг пробегает по лицам наших знакомых, что предостерегали нас: так все-таки он редактор! Он



Дочь Миры Мстиславовны Яковенко – Оля

может написать что-нибудь против Советского Союза!

Оля с Володей ушли.

Длинный стол (насколько он может быть длинным в десятиметровой комнате), составленный из обеденного и двух письменных, накрыт уже. Гостей оказалось невместимое количество, и, удивительно, – почти все, кто высказывал категорические опасения насчет шпионажа и антисоветизма, – тоже тут! Посадить всех не удастся, кому-то придется стоять во втором и третьем рядах (за стульями сидящих) и пировать «а-ля фуршет».

Время идет, 18 часов, затем 18.30, а их все нет!

Отец мой, человек очень смелый – в последнюю войну дважды бежал из немецкого плена, был у партизан – здесь он не может сдержать своего взвинченного, нервного состояния. Говорит: «Они уже не придут! Я вам говорю: они уже не придут!» Читай: «за ними следили, их уже арестовали!»

Мы сердимся на него.

Но вот крохотная наша кухонька наполняется веселым заразительным смехом Жана, объяснениями Оли и Володи – задержка трамвая.

Жан сидит во главе стола – веселый, жизнерадостный, готовый отвечать на всё и всяческие вопросы (переводят Оля и наша приятельница Тамара Карловна).

Жан пробует украинский борщ; он в восторге! Утка с яблоками тоже ему нравится – вообще ему нравится всё у нас, «лакировки», кажется, не замечает. Пируем весело, запросто, Жан хохочет, рассказывает



Жан Шефер

смешные эпизоды заседаний Совета Мира, все благоговееют, приобщаясь к Истории... Вопросы, вопросы о семье, жизни во Франции, работе... Всё это бесконечно интересно, но нам неловко – Жан почти не успевает есть, мы просим нас извинить, но Жан тотчас возражает:

– Мои коллеги будут мне завидовать, что вместо скучнейшего заседания, где им приходится высиживать, я так хорошо провожу время!

Жан пробыл у нас до полуночи.

Все были очарованы. Приглашенная нами для помощи уборщица соседней с нами фабрики всё спрашивала – не придет ли он еще раз? Она никакой платы с нас за помощь не возьмет – только бы мы ее пригласили!..

– И вы заметьте, – с восторгом говорят осторожные, – он же ни одного вопроса не задал нам, ничего, совсем ничего у нас не выпрашивал!

Так отпали опасения не только в шпионаже, но даже в антисоветизме. И все без исключения сочли его другом Советского Союза.

Несколько дней мы с Тamarой Карловной бегали по магазинам покупать сувениры для Жана. Обязательно: хохлому, матрешек, купчиху, пьющую чай из блюдца, в длинной пышной юбке – надевать на чайник, чтоб не остывал, открытки и альбомы с видами Москвы.

Нам так хотелось, чтобы теперешний Советский Союз ему понравился!

И он ему понравился. Еще прежде Жан говорил, что коллеги будут завидовать. Когда мы встретились,

чтобы передать сувениры, он повторил: еще как завидуют! Ему единственному удалось побывать в семье советских русских. А никому из его друзей такой удачи не выпало. Советские люди в те годы к себе еще иностранцев не приглашали.

Жан был секретарем ВКТ по социальным вопросам, но во всякие заграничные поездки профсоюз направлял именно его: «Ты умеешь с иностранцами ладить, – говорили ему, – ты всегда находишь с ними общий язык!»

Потому и летели к Оле открытки из всех стран мира.

А мы были счастливы. Это было счастье приоткрывшегося занавеса.

В последующие годы портьера отодвигалась. Почти каждый год Жан бывал в Москве, и мы обязательно встречались.

Письмо за подписью

В 1964 году Жан приехал в Союз с женой и сыном – их ВЦСПС пригласил провести отпуск в Сочи. По дороге – остановка в Москве.

В двухкомнатном номере гостиницы «Советская» нас встречает смеющийся Жан, а рядом с ним – маленькая старушка! Альбина ведь на одиннадцать лет старше Жана!

Но разочарование коротко – его тут же смывает обаятельная приветливая улыбка. Альбина изящна, легка, просто и скромно, но с большим вкусом, одета – живая, деятельная, энергичная, веселая, вечная

труженица – ее еле-еле отпустили дела приюта для детей неимущих родителей, директором которого она является.

Жан уже говорил нам, что Альбина наполовину русская, дочь народовольца Завадовского.

– Да, да, – подтверждает она, – отец был народоволец, после Процесса двенадцати в Киеве вынужден был скрыться за границей...

Заинтересованная, я решила разузнать поподробнее об отце Альбины.

«Завадовский Николай Никандрович – дворянин, сын надворного советника, служившего в конторе Николаевского порта. Родился около 1863 года. Окончил Александровскую гимназию в г. Николаеве. В 1882 – студент Петербургского университета. Арестован в Петербурге 10 ноября 1882 года и по распоряжению министра народного просвещения уволен из университета. Вновь арестован 24 апреля 1883 года в Петербурге на квартире Г.П.Кузьменко. Из-под стражи освобожден под особый надзор полиции. По соглашению министров внутренних дел и юстиции дознание в отношении его в январе 1884 года прекращено. В 1883–1884 гг. студент первого курса юридического факультета Киевского университета.

Жил в Киеве вместе со студентом Степановым. Был там тесно связан с местной народовольческой организацией... Арестован 4 марта 1884 г. Содержался под стражей в Киевской тюрьме. По распоряжению Киевского генерал-губернатора предан военно-

му суду по обвинению в принадлежности к сообществу, стремившемуся насильственным путем свергнуть существующий строй. Судился Киевским военно-окружным судом 1–8 ноября 1884 года по процессу двенадцати народовольцев...»²

После 1 марта 1881 года Россия ждала, затаив дыхание, новых ударов грозного и таинственного Исполнительного комитета «Народной воли».

Но Исполнительный комитет 1879 года был разгромлен.

«Теперь была пустыня, – пишет Вера Фигнер, – недоставало ни умов, ни рук, ни главенствующих инициаторов, ни искусных исполнителей. В 1879 году Исполнительный комитет соединил в себе все революционные силы, накопленные предшествующими десятилетиями... Он бросил их в политическую борьбу и, совершив громадную работу, в два года истратил весь капитал...»³

И в этой «пустыне» Вера Фигнер с присущей ей энергией берется за создание нового центра. И дело налаживается. Есть военные организации на юге, на севере. Уцелели Спандони, Дегаев. Их Вера Николаевна привлекает в создаваемый ею центр. Дегаев объезжает военных с предложением наиболее энергичным из них выйти в отставку и заняться исключительно делами партии.

Затем они с женой поселяются в Одессе, чтобы наладить работу типографии. Но – новый удар – ти-

² Деятели революционного движения в России : Библиографический словарь. Т. 3. Вып. 2. С.1449–1451.

³ Фигнер В. Запечатленный труд. М., 1964. С.304.

пография захвачена полицией, арестованы все, кто работал там, включая Дегаева.

Вера Фигнер была тогда в Харькове. Неожиданно ее вызвали к себе друзья. Когда она пришла, она остановилась в недоумении: перед ней стоял Дегаев! Он был бледен, расстроен, объяснил ей, что бежал. Затем подробно расспросил, где живет, в котором часу выходит из дому и не боится ли ареста.

Она ответила, что здесь чувствует себя в безопасности, разве что предатель Меркулов встретится ей на улице.

Через несколько дней, выйдя в свой обычный час из дому, она столкнулась лицом к лицу с Меркуловым и была арестована.

Лишь весной 1884 года, уже в Петербурге, Вере Николаевне показали доносы Дегаева, написанные им инспектору секретной полиции Судейкину.

В ту самую зиму 1883–1884 годов, когда Вера Николаевна теряла голос в страшном молчании одиночки Петропавловской крепости и казалось ей, что в окружающем ее пустынном море не видно ни островка, группа молодых людей, увлеченных примером Исполнительного комитета «Народной воли», ставит в Киеве хорошо организованную типографию.

Среди них был и Коля Завадовский.

От прежней киевской организации сохранились типографские принадлежности и шрифт, материал для паспортного бюро... и работа закипела.

Но тут сказалась неопытность молодежи, не заметили, как началась слезка, а началась она с самых первых дней их деятельности.



Николай Никандрович Завадовский

Двенадцать участников Юго-Западной группы «Народной воли» были арестованы и после восьмимесячного дознания преданы военному суду.

Военный суд оправдал Николая Завадовского.

И это несмотря на то, что в квартире Степанова и Завадовского найдено «письмо, подписанное буквой N».

(Далее цитирую с сокращениями обвинительное заключение⁴):

«...В письме сообщается о деле Зои Григорьевны Ге... Зоя Григорьевна в августе 1883 года была привлечена к дознанию, проводимому генерал-майором Середой⁵ по обвинению в принадлежности ее к преступному сообществу, выражавшемуся в близких отношениях с Верой Фигнер и укрывательству сей последней... Зоя Григорьевна принимала участие в революционных кружках г. Николаева среди офицеров, и ее весьма часто посещал Завадовский...

Завадовский своим таинственным образом жизни и частыми поездками в Одессу возбуждал подозрения в сношениях с членами тайного революционного сообщества».

М.П.Шебалин (руководитель Киевской народвольческой группы) в своих воспоминаниях⁶ пишет:

«Прокурор в своей обвинительной речи указал на молодость лет Степанова... Завадовскому прокурор не давал никакого снисхождения».

⁴ Обвинительный акт по делу Юго-Западной группы «Народной воли» // Вестник Народной воли. 1886. № 5.

⁵ Речь идет о процессе Веры Фигнер и военных.

⁶ Шебалин М.П. Процесс двенадцати народовольцев // Народовольцы восьмидесятых и девяностых годов. М., 1929.

И все-таки военный суд оправдал Завадовского. Как же это могло случиться?

М.П.Шебалин⁷: «Всего меньше было улик против Степанова и Завадовского. Их уличали исключительно показания жандармских унтер-офицеров... Показания примерно таковы: такого-то числа на той-то улице Степанов и Завадовский встречались с Шебалиным и Стародворским... Стародворский приходил такого-то числа на квартиру, где жили Степанов и Завадовский.

К счастью не только тех лиц, против которых были такие показания, но к счастью всех нас у следователей не было «внутреннего освещения» по нашему делу, не было ни откровенных, ни провокационных признаний».

Вот что пишет по этому поводу Тихомиров⁸ (тогда еще народоволец): «Не много найдется процессов, где следователи успели бы вырвать у подсудимых так мало сведений. Суду пришлось решать дело почти исключительно по показаниям профессиональных уличных шпионов... Подсудимые смело заявляют свои убеждения, даже в тех случаях, где, по-видимому, легко можно было бы от них отказаться. Но переходя к фактической стороне, подсудимые на каждом шагу молчат, отказываются от показаний и без малейших колебаний ухудшают свое положение, лишь бы только никому и ничему не повредить...»

⁷ Шебалин М.П. Процесс двенадцати народовольцев.

⁸ Тихомиров Л.А. Киевский процесс // Вестник Народной воли. 1886. № 5.

Хотя и оправданный судом, остаться в России Завадовский не смог.

Киевским генерал-губернатором ему воспрещено пребывать в губернии.

Едет в Николаев. Тотчас же следует реакция министра народного просвещения – воспретить пребывание из-за пагубного влияния, которое он может оказать на молодежь. Направляется в Одессу. Следует запрет Одесского генерал-губернатора.

Харьков... Генерал-губернатор ссылается на положение об усиленной охране...

Наконец, Минск...

Биобиблиографический словарь: «В 1885 и 1886 гг. безуспешно пытался поступить в Дерптский университет...»

Тайное, зоркое наблюдение не прекращается. Из отчета об этом наблюдении⁹:

«Причины утверждения надзора: сношения с Шибалиным и Стародворским... При обыске у Степанова и Завадовского найдено письмо...»

Все то же – то же письмо!

Давнее сильное подозрение не дает жандармам покоя. Чуют – связан был с делом Фигнер и военных, чуют, но – не пойман! И, далее, в словаре о Завадовском: «В 1890 г. уехал в Париж».

Статья заканчивается словом: «умер». Но в 1931 году, когда вышел словарь, Завадовский был еще жив.

О его дальнейшей судьбе я узнала во Франции.

⁹ «О бывших студентах... и Степанове» // ГАРФ. Ф.102. Оп. 80. Ед. хр. 1118. Л. 10. (1884 г. Листок наблюдения).

Черные реки

В 1972 году Жан пригласил Олю в гости. Документы были поданы весной, но ОВИР тянул и тянул, и только когда по совету одного из сведущих людей Оля подала жалобу на ОВИР в ЦК, что отпуск Жана Шефера истекает, ОВИР быстро отреагировал, и поехала Оля во Францию вместо июля в октябре!

Мне повезло больше. В 1974 году, когда Жан пригласил меня, разрешение мне – тогда уже пенсионерке – пришло очень быстро. Я поехала в начале июля.

Уезжала из Москвы с тяжелым сердцем. Мой отец умер в апреле, мать оставалась на попечении мужа и приехавшей с Сахалина (где она тогда работала) Оли. Мать была в депрессии: «Я не хочу жить, – говорила она, – без него не хочу жить!»

Тяжесть на сердце лежала не только из-за состояния мамы. В то время я уже была «работником самиздата» – размножала все, что удавалось достать, и раздавала тем, кому это было важно и нужно. Перепадала мне и «Хроника текущих событий». Печатала я в комнате моего мужа в коммунальной квартире. Нашим соседям все надо было знать, и, чтобы им в голову не пришло доискиваться, почему это я, преподаватель физики, все свободное время стрекочу на машинке (уж не беру ли я «левую» работу), мне пришлось заглушать ее звук. Для этого купила детское ватное одеяльце, вырезала прямоугольное отверстие и вшила в него прозрачное пластмассовое окошко. Мой муж, Игорь Аркадьевич, сделал деревянную подставку и, накинув на нее одеяльце окошечком

против валика машинки, где виден был печатаемый текст (находить на клавишах буквы я научилась вслепую), печатала все свободное время. Одеяльце гасило звук.

Я была в курсе трагических событий того года.

Наши светлые надежды прошлых лет не оправдались. В стране шла расправа с диссидентами, писателями, защитниками прав человека. Мне уже никак не хотелось, чтобы всё в теперешнем Советском Союзе нравилось иностранцам!

Проехали границу Польши. Уже тут разительная перемена. Вместо однообразно стандартных, тесно стоящих вдоль прямой улицы унылых колхозных домов с небольшими пустыми палисадниками пошли нарядные разнообразные коттеджи. Затем французская граница и – Франция. Не могу оторваться от окна. Коттеджи утопают в цветах, цветы всюду, даже в селении на телеграфных столбах. Столбы обвивают вьющиеся растения, и среди них ловко прилаженные корзины, а в них цветы, цветы, цветы...

Но вот мы пересекли канал. Что это? Рядом с такой красотой мертвая черная вода. Жара, но никто не купается!

Позже я увижу черную Луару, черный Шер, черную Рону, Францию, убившую свои реки.

Северный вокзал Парижа. Альбина и Жан встречают меня, они поражаются, сколько у меня вещей, но когда они узнают, что в этих вещах, они поразятся еще больше. На машине Жана мы едем в Ножан-сюр-Марн рядом с Венсенским замком, рядом с заросшим парком – куском неухоженного леса.

Подъезжаем к двухэтажному коттеджу. Маленький зеленый дворик, несколько ступенек, и мы в доме. Три комнаты наверху, две комнаты плюс кухня внизу и светлый большой полуподвал, где стоят водонагревательный прибор для отопления дома и большая стиральная машина. Никакой роскоши, мебель давняя, пережившая не одно десятилетие. Деревянные полы натерты воском до блеска, всюду чистота и порядок. Тут жили большие семьи Альбины и сестры ее Жанны, но теперь все разлетелись: Жанна имеет небольшую квартирку в новом доме. Четыре сына Альбины и Жана обзавелись семьями, живут отдельно, и в коттедже остались они вдвоем. Коттедж – не их собственность, они платят за него хозяйке, но по существующему закону плата не может превысить назначенной первоначально, а назначена она была давно, и это – теперь, после всяких инфляций – немного. Учитывается также то, что дом старый и в нем не были установлены современное отопление и сантехника.

В Париже жарко. Моя комната на втором этаже, в ней широченная двуспальная кровать, а за занавеской, в нише на столике, – таз и кувшин с водой. Это – как в девятнадцатом веке! Но похоже, что с водой тут хуже, чем было тогда. Хотя она и очищается, но пить воду из-под крана опасно. Для питья покупают воду в больших прозрачных полиэтиленовых бутылках.

Я открываю свой первый чемодан. Жан и Альбина с любопытством наблюдают за этим: что в него положено такое тяжелое?

Таинственный чемодан наконец-то открыт.

– Что это такое? – восклицает Жан, ничего не понимая.

В чемодане не наряды, не подарки даже (подарки в другом чемодане), в нем... продукты! Сухое молоко, крупы – овсянка, манная, рис, пакетики с прессованной гречневой кашей с луком...

– Мне говорили, – смущенно объясняю я, – что во Франции все очень дорого и лучше взять с собой питание...

Жан взрывается оглушительных хохотом:

– О, бедная Франция! Бедная Франция! Ты боялась погибнуть от голода? – восклицает он.

Затем он замолчал, с серьезнейшим лицом приставил палец ко лбу, сосредоточенно думает. И вот нашел! Нашел применение привезенному мною продовольственному складу. Эти продукты надо раздавать как подарки – ведь каждому любопытно попробовать питание другой страны.

У меня есть еще чемодан, наполненный подарками, но, насмешив хозяев первым, я робко открываю второй.

В нем-то действительно подарки, но мне неловко их показывать, ведь там то же самое, что мы без конца дарили Жану – та же хохлома, матрешки, бабы в пышных юбках-термостатах. Это не Жану, конечно, а другим знакомым, но мне совестно, что набор тот же.

У Шеферов еще гость – чехословацкий художник Ришар, после поездки в Испанию решивший заехать еще во Францию.

Преодоление немоты

И вот вечер первого дня. К Шеферам приходит их сын Андре. Он музыкант, занимается изучением древней кельтской музыки, для чего провел два месяца в Уэльсе. С ним его жена Лилиана – художница, изящные легкие рисунки которой имеют сейчас огромный успех.

Мы сидим в маленьком, огороженном каменным забором садике, покрытом густой тенью единственного раскидистого каштана. На столе конечно же (это будет повторяться каждый обед и ужин – точнее, большой завтрак и обед) недожаренные, с моей точки зрения, пластинки первоклассного мяса, миска салата, фрукты – груши, яблоки, апельсины, бананы, виноград и обязательно на закуску – творог и сыр, различные йогурты, фруктовые соки.

За столом Альбина, Жан, Андре, Лилиана, Ришар и я. Все хотят меня послушать, а я... Я думала дома, что я говорю по-французски, но на деле это оказалось мучительно трудно не столько даже для меня, сколько для моих слушателей, которые пытаются меня понять, но затем деликатно переводят свое внимание на Ришара. Хотя Жан вскоре скажет, что Ришар говорит по-французски очень плохо, с моей же точки зрения он говорит превосходно, а Жан оклеветал Ришара, чтобы поднять мой дух. И вот Ришар в восторге рассказывает об испанской архитектуре, об испанской живописи, о том, где и как он побывал, разъезжая только автостопом, так как денег у него нет. И вот уже идет разговор об искусстве. Я все-таки что-

то понимаю, например фразу: «Les gens d'art sont des élus» (люди искусства – избранные).

Как странно перенестись сюда из той жизни, где я всего два дня назад была, из жизни, где надо следить, чтобы соседи не услышали щелчков пишущей машинки, из этого узкого, затиснутого в тюрьмы и лагеря или в конспирацию мира. И вдруг летний парижский вечер, садик в густой тени, обнесенный каменным, увитым плющом забором, стол с изобилием фруктов, и эти наивные и чистые люди, люди другого мира, которые с увлечением говорят об искусстве, о музыке древних кельтов, о новых поисках формы живописи, об избранности тех, кто имеет чутье к прекрасному...

Я в девятнадцатом веке! Мне не верится, что такой мир еще существует!

Рассказать им я еще пока ничего не могу – немота меня наглухо связывает, да и поверят ли они мне?

Да не поверят! Я убеждаюсь в этом в ближайший же день. Жан на работе, и я провожу время с Альбиной (она уже на пенсии). Мы все-таки научились кое-как понимать друг друга. И Альбина с присущей ей страстностью нападает на «вашего Солженицына» (votre Soljenitsyn), который написал «Архипелаг ГУЛАГ», и книга эта только недавно вышла в издательстве «ИМКА-Пресс» во Франции.

– Архипелаг сорвал нам выборы! – возмущается она. – Прошел не Миттеран – социалист, а Жискард д'Эстен – правый, аристократ! Если бы книга не вышла, все было бы иначе! Книга Солженицына – клеветническая, она оттолкнула от вас Запад, она наст-

роила против Советского Союза даже некоторых коммунистов, которые ей поверили!

Ну как объяснить ей что-то с моей французской немотой?

И я начинаю писать. Я беру русско-французский словарь, который у меня с собой, и склеиваю фразу за фразой. Мне надо рассказать правду Альбине – человеку, всей душой расположенному к Советскому Союзу, дочери народовольца, которая ненавидит русский царизм, изгнавший ее отца, и всей душой приветствует революцию семнадцатого года. И она отталкивает от себя все, что не идет на пользу Советскому Союзу.

Жан Шефер не коммунист, он – левый социалист, но тоже склонен отвергать солженицынскую правду. Частично это – из симпатии к нам, он судит по встречам, которые мы для него устраивали (повторю: ведь он очень гордился перед коллегами, что проник в среду простых советских людей! И ведь ни с чем подобным тому, что пишет Солженицын, он там не сталкивался!).

О, это все наша «лакировка действительности»! Это ведь она сработала, подталкивая теоретические симпатии Шефера.

Я не изучаю Париж, не хожу в Лувр, в Музей современного искусства, в Пантеон, на могилу Наполеона – это я сделаю позже. Я занята работой. Я сижу со словарем и пишу, пишу, я привожу примеры, известные мне факты. Уж как выглядело мое письмо для французов – можно только догадываться, но я как можно яснее старалась объяснить характер нашей

власти – этого железного кулака, зажавшего все, ее ложь, лицемерие и жестокость в подавлении слова, которого власть наша боится больше всего.

Наконец сочинение готово, и Альбина его читает.

Прочла... Она смущена. Ей надо очень-очень подумать. Она оттягивает высказать свое мнение, пока говорит о другом – ей очень понравился мой слог, это очень хорошо написано, интересно, оригинально – французский язык словами иностранки с нефранцузскими оборотами.

Читает и Жан. С чем-то согласен, что-то и сам заметил или додумался. Но со всем согласиться не может, что-то он оспаривает. Ему трудно сейчас бороться с массой антисоветских настроений, которые «Архипелагом» подогреты.

И, однако, признавая право каждого свободно думать то, что ему кажется правдой, он приносит мне две толстые книги «Архипелага ГУЛАГ». Позже я обменяю в магазине русской книги эти толстые тома на маленькие конспиративно-мелко напечатанные (специально, чтобы легко было перевезти через границу), которые мне там предложат вместе с некоторыми другими, на мой выбор и совершенно бесплатно! Друзья мои, Шеферы, полностью признают мое право думать по-своему (впрочем, это в основном касается Жана, в Альбине есть нотка нетерпимости, унаследованная, вероятно, от отца).

Хуже обстоит дело с их друзьями. Коммунисты – муж и жена, – которые приходят к Шеферам в гости, чтобы поговорить со мной, уходят во время ужина возмущенные. Они не могут мне поверить, они не хо-

тят мне верить, что выборы у нас происходят без выбора, заявляют, что такие небылицы они уже слышали. Я огорчена, что испортила Жану и Альбине вечер, но Жан опять подтверждает мое право думать, как я считаю правильным.

Наконец Альбина откликается на суть моего письма. Она наполовину итальянка, наполовину русская, но она горячая патриотка Франции, и, кроме того, она никак не хочет разочаровываться в Советском Союзе.

– У нас во Франции, – говорит она, – было четыре революции и победа Народного фронта в 1936 году, а у вас была одна революция, это как у нас в 1793 году, когда заработала гильотина.

Альбина мне верит! Она только так глубоко проникнута чувством дружбы к нам, что она пытается объяснить все временными затруднениями, которые будут преодолены.

И когда Жан пошлет меня в самостоятельное путешествие по Франции по адресам своих друзей, чтобы мне побольше повидать, он скажет мне такое напутствие: «Нашим ты можешь говорить все, что хочешь, но остерегайся ваших, если встретишь их здесь у нас!» (О, он многое понял! Не стану гордиться, что это только результат моего письма, у него, конечно, были и свои наблюдения.)

Западни

Но кроме политики у меня есть для Альбины именно ей интересные вещи. Взявшись за словарь,

я пишу исковерканным французским то, что узнала в справочниках и архивах об ее отце.

Она прочитала запоем. Тут у нас с ней полный контакт.

– Да, да, – воскликнула она горячо, закончив чтение заметки; она ведь очень экспансивна, она всегда становится на защиту обиженного и тем страстней, чем сильнее был обидчик. – Да, да, родной отец выгнал его из дома. Его отец ведь был большой чиновник, надворный советник, преданный царской власти. И это все правда, что говорится в документах. Его перебрасывали из города в город, как прокаженного, всюду власти хотели от него избавиться. Хотя его и оправдали, но никто не верил, что он невиновен. Товарищи были в тюрьме или в ссылке, девушка, которую он любил, как только он попал в тюрьму, вышла замуж... Ему закрыли дорогу учиться, его не принимали ни в один университет. Он работал конторским служащим в Минске на заводе Якобсона. Из конторы домой, из дома в контору... Он чувствовал за собой непрерывное наблюдение, он опасался связаться с близкими ему по убеждениям людьми, чтобы не подвести их. Это была беспросветная жизнь. Он был как в западне. И вдруг его разыскал старый товарищ, революционер... Отец его предупредил, но тому некуда было деваться, и отец его спрятал у себя. Полиция гостя схватила. После этого отцу пришлось спешно скрыться за границу. Он уехал в Париж, чтобы учиться. Он тогда не думал, что уезжает навсегда.

Во Франции он оказался без средств, он давал уроки латыни и греческого в русской колонии, чтобы

иметь возможность учиться. Были дни, когда он не ел вовсе.

Когда отец мой кончил медицинский факультет в Париже, как иностранец он не мог быть допущен к конкурсу экстернов, чтобы стать ординатором в клинике.

Некоторое время он работал бесплатно в больнице для бедных. Это было в конце девяностых годов. В больницу попала молодая итальянка с острым ревматизмом. Мать ее была прачкой, а дочь с семи лет зарабатывала как натурщица. Она была очень красива. В Люксембургском саду с нее как с модели вылеплена скульптура девушки, дающей пить воину.

Отец очень жалел ее, лечил и вылечил, а затем на ней женился.

Найти платную работу ему помог университетский профессор, который называл его, когда он еще был студентом, *moniteur* (что значит инструктор, наставник) за отличные успехи отца и помощь товарищам. Он помог отцу найти работу частного врача в департаменте Марны. Было это в 1901 году. Начало оказалось очень трудным. Больные не хотели доверять иностранцу, называли его «грязным русским евреем». Он получал письма с угрозами от конкурентов. Иногда его вызывали ночью к больному, но, когда он приходил по адресу, больного там не оказывалось.

Его хотели напугать, но не смогли. Нападать на него не решались: он был большой и сильный человек. Постепенно завоевал хорошую репутацию.

В детстве своем Альбина не помнит, чтобы отец

бывал дома. Он вечно был занят – принимал больных или был на вызовах.

Детские воспоминания от жизни отца с матерью у Альбины остались невеселые. Мать была очень экспансивна, неуравновешенна, вспыльчива. Как во многих итальянских семьях, в семье матери при всякой ссоре (а вспыхивали они там часто) легко и сразу переходили на крик. Вероятно, мать Альбины привыкла к этому. Однако теперь, когда с ее стороны происходили такие вспышки, отец не отвечал ничего. Он был очень сдержан, не переносил скандалов и криков. Молча одевался и уходил из дома. Между супругами не было никакого контакта, и Альбине, потом, в воспоминаниях, казалось, что отец был очень одинок. Однако все это Альбина помнила смутно, потому что мать рано умерла – в 1911 году – от тяжелой болезни сердца – последствий ревматизма.

Осталось трое маленьких детей. Отец не женился вновь, растил детей один.

Когда произошло примирение с дедом, Никандром Николаевичем, Альбина не помнит. После отец говорил ей, что Никандр Николаевич был очень недоволен его женитьбой на нищей натурщице. Однако примирение произошло. В 1905 году, еще при жизни матери, дед приезжал со своей новой женой навесить сына.

В 1908 году Никандр Николаевич тяжело болел, и сын ездил к нему в Николаев. Война 1914 года застала отца Альбины в Париже. Днем он принимал больных, а ночью дежурил в мэрии XIX округа.

Ажан (полицейский) приходил за ним, чтобы посылать к больному. Ходить приходилось пешком.

В 1917 году мачеха написала, что Никандр Николаевич умер. Затем всякая связь с Россией прекратилась.

Борьба с нуждой и гордость бедных людей были детскими воспоминаниями Альбины. Еще был пример отца – это ее сформировало. Об отце она говорила: у него был твердый характер, и он никогда не изменил своих убеждений.

Воспитывая, он старался закалить детей физически и морально. Он не переносил никакого барства, изнеженности, хныканья, малодушия. Он учил их не чураться и не презирать никакой работы, уважать любую, все уметь делать, а в беде быть мужественным и стойким и всякую невзгodu переносить без жалоб. И еще он учил их правдивости и честности.

Посторонним он казался суровым и замкнутым. Но это была просто большая сдержанность и выдержка.

Затем начинается самостоятельная жизнь Альбины. И это тоже рассказ об отце, потому что Альбина повторила – в других условиях – его характер. Коротко: он видел смысл своей жизни в служении людям делом. И это стало путеводной нитью для Альбины.

Яркий музыкальный талант, блестящее начало Альбины... Но она сказала отцу: «Я хочу как ты – лечить людей и помогать им».

Он никогда не принуждал, не неволил, не настаивал, единственное средство его воспитания было –

довод, апелляция к разуму, высказывание своего мнения. Умудренный своей жизнью, он сказал ей только:

– Это очень трудно. Подумай, сможешь ли ты.

Она знала, что трудно. Трудно быть настоящей сестрой милосердия, настоящим врачом. Таким, как ее отец. Потому, что это было очень много.

Но она верила в свои силы. Маленькая, тоненькая, но сильная духом девушка, энергичная, живая и деятельная, с ослепительной улыбкой и чертами итальянской мадонны...

Чтобы я лучше поняла их – ее и отца, она привела мне слова Пастера: «Я не хочу знать, каковы твои убеждения, какова твоя вера, мне нужно знать лишь, каковы твои страдания».

Отец в это время работал уже в Солони. Альбина уехала в Париж. Он не хотел ее отпускать, тревожился за нее, но ничего не сказал ей, глубоко уважая ее волю.

В Париже Альбина окончила фельдшерскую школу, а затем школу социальных ассистентов, где надо было изучать законы и право. Социальный ассистент помогает людям, разъясняя несведущим их права. Такая должность есть в учебных заведениях, в мэрии, на заводах и фабриках.

Когда, закончив обе школы, Альбина работала социальной ассистенткой в «Центре здоровья», одна знакомая спросила ее:

– Знаете ли вы помощника мэра XX округа? Он хочет создать диспансер для детей неимущих. Интересно ли вам это?

Это было именно то, что Альбине было нужно. В то время диспансер этот был чудом.

Шли тридцатые годы. В 1934 году была подавлена попытка фашистского переворота во Франции. В 1936 году победил Народный фронт. Завоевания рабочих: сорокачасовая рабочая неделя, первые отпуска! Летом вся трудящаяся Франция, ликующая и захлебывающаяся от счастья, тронулась в путь – куда угодно, на чем угодно, как угодно. Ехали на поездах, но чаще (так было дешевле) пешком, толкая впереди тачку с детьми, или с мешком за плечами – к морю! Чтобы с гордостью сказать потом: «Вот, я побывал на море, которого еще никогда не видел!»

Лесная ежевика

Альбина навещала своего отца в департаменте Луар и Шер, в Солони, где он постоянно работал.

Солонь – это центр Франции, страна лесов (увы, частных! Проезжие дороги огорожены колючей проволокой, кое-где висят объявления: «Входить запрещается. В лесу установлены капканы». Тут охотятся владельцы, еще сохранившиеся аристократы, или продаются лицензии на охоту).

Теперь у отца Альбины иногда случались свободные часы, и она с удивлением обнаружила изящную прекрасную мебель, которую он делал своими руками. «Если бы я не был врачом, – сказал он ей, – я стал бы краснодеревщиком».

Но это было хобби, а основным по-прежнему было служение людям делом. В числе благотворительных

дел отец организовал помощь больным неимущим немецким детям, положение которых после Первой мировой войны было тяжелее, чем во Франции.

Николай Никандрович получал много писем из Германии, и ему нужно было отвечать на них.

– А, мсье Завадовский, – сказала ему как-то соседка, – почему вы не обратитесь к мадам Маттифа, она прекрасно знает немецкий!

Странная фамилия Маттифа, как выяснилось вскоре, происходила от предка-араба, который некогда, во времена крестовых походов, попал подростком во Францию и сумел подняться по социальной лестнице так, что уже внук его стал епископом Парижа и ныне похоронен в соборе Парижской Богородицы.

Мадам Маттифа пригласили, и она охотно пришла. Она была смуглая, черноволосая, ярко одетая, похожая на цыганку, очень веселая, общительная и интересная. Она пришла не одна, а с сыном. Ему было около двадцати четырех лет. Это был крепкий, сильный, широкий в плечах молодой человек, веселый и жизнерадостный. Звали его Жан.

Альбине было уже тридцать пять лет. Увлеченная своей деятельностью, она не думала о замужестве, просто не собиралась замуж. С поклонниками, когда они бывали, она не находила контакта, те казались ей поверхностными, пустыми, тотчас же под неглубоким покровом благородных фраз она обнаруживала мелкого буржуа. Может быть, образец человека, которого она могла бы полюбить, был слишком высок для окружающей ее среды – этот образец был ее отец. И сперва она отнеслась безо всякого внимания

к Жану, который, кроме всего прочего, имел большой недостаток в ее глазах – был на одиннадцать лет моложе ее.

Мадам Маттифа, Николай Никандрович и Жанна – старшая сестра Альбины, – которая тоже занималась помощью немецким детям, стали обсуждать письма в беседке около дома, и, заскучав от слушания переводов, Жан предложил Альбине пройтись вдоль лесной дороги, где росла ежевика и где ее можно было рвать, не навлекая на себя гнев обитателей замка, которым принадлежал этот лес. И тут – слово за слово – Альбина вдруг с изумлением обнаружила не по годам зрелые суждения молодого человека и большую близость их жизненных целей: если у Альбины это было служение страдающим людям, то у Жана, сына немца и француженки, раздраемого между двумя странами, – это была борьба за мир, борьба за то, чтобы никогда больше на Земле не было войны и люди не убивали бы друг друга... Это чувство – встать между враждующими, повторяю, так сильно овладело им, вероятно, из-за условий его детства, а зрелось, удивившая Альбину, была дана ему жизнью – очень трудной, очень неустроенной жизнью...

Интересная и живая мадам Маттифа, умеющая блистать в обществе, не имела никаких средств к существованию, но не умела и не хотела работать. Выйдя замуж за немца – его фамилию – Шефер – носил Жан, – она вскоре разошлась с ним, оставив ему сына. Так, некоторое время Жан жил в Германии, где воспитывался немцем, но затем мать пожелала, что-

бы сын был с нею, и Жан переехал во Францию в провинцию Солонь в Ферте Эмбо, где жила бабушка – мать матери. Здесь Жан учился в школе. Мать, которая приняла свою девичью фамилию Маттифа, тем временем объявила себя тяжелобольной туберкулезом легких и уехала лечиться в Высокую Савойю (Альпы). Лечилась она на заработки бабушки, которая давала уроки музыки. Внук с бабушкой жили очень бедно – деньги отсылались в Савойю. Но врачи, к великому возмущению мадам Маттифа (которая сочла их плохими врачами), признали ее совершенно здоровой.

Она вернулась, бабушкиных заработков на жизнь не хватало, Жану было четырнадцать лет. Мать взяла его из школы, несмотря на удивительные способности, которые он там выказывал. Когда директор школы и мэр уговаривали дать ему закончить учебу в школе, она оставалась непреклонной.

– У меня нет денег платить!

– Он будет учиться бесплатно!

– Он мужчина, он должен зарабатывать!

Они обещали выхлопотать для него стипендию, но веселая и легкомысленная мадам Маттифа и на это не согласилась.

И Жан пошел искать заработки. Кем он только не был! И разносчиком газет, и продавцом в магазине, и грузчиком, и уборщиком улиц. Затем ему удалось устроиться на шоколадную фабрику Пулэн. Там он быстро выделился, благодаря своим способностям. Но, проработав там несколько лет, Жан вступил в профсоюз. Его вызвали к директору: «Я ничего не имею

против вас, – сказал ему тот, – вы хорошо работаете, но ничего не могу поделать – мне приказано вас уволить». Речь шла о владельцах фабрики.

И начались скитания безработного... Когда мы были в Орлеане, Жан узнавал места, где ему приходилось ютиться, и привел нас в парк, на скамейках которого он некогда ночевал.

Но и там встретились ему хорошие люди. Отец большого семейства, увидев его нужду, пригласил его к себе: «Ночуй хотя бы у нас в каморке». Они делили картофелины своего обеда, доставалось и на его долю, но Жану иногда удавалось, переломив себя, отказываться...

Все в Альбине отзывалось на эти рассказы...

Жанна строго выговаривала ей вечером того дня: «Это неприлично! Уйти вдвоем в лес! Как ты себя ведешь, ты подумала?»

А мадам Маттифа, ревниво подметив детали, по дороге домой говорила Жану: «Я видела, как ты смотрел на маленькую Зава! Но она не для тебя!»

Но были новые встречи, были разлуки и были письма... А однажды на велосипедах вырвались Альбина и Жан в Шомон – замок Екатерины Медичи на Луаре (уже тогда там был музей) – и провели там целый день, гуляли по парку, кидали камешки в глубочайший колодец... Теперь замок Шомон их любимое место, туда они возили Олю, когда она была во Франции, а затем меня. Это была экскурсия в их молодость. «Здесь я заметил, – сказал Жан, – что маленькая Зава прекрасна!» И, ласково пожимая ей руку:

«Я тебя еще не называл тогда “мой маленький котенок”? Правда? Я называл тебя мадмуазель Завадовская, помнишь?»

Когда они объявили, что хотят пожениться, мадам Маттифа пришла в ярость, но, погасив вспышку ревности, поставила условие, что жить они будут вместе с нею. Она не могла отпустить ствол дерева, который ее поддерживал: хоть и не всегда они были, но, когда случались, Жан приносил ей заработки.

Николай Никандрович был огорчен этим браком, но не потому, что Жан не имел ни специальности, ни образования. Нет, он боялся, что Жан окажется похожим на свою мать, порхающую по верхам эгоистку. Альбине он это сказал, но и только. Даже разницы в возрасте не выдвинул он ей возражением.

Это было возражением только для самой Альбины. Но она рассудила так: «Пока я еще не состарилась, он будет меня любить. Пусть это будет временное счастье, но это будет счастье, и никакого другого мне не надо. Ну а потом, если он отойдет от меня, значит таков закон жизни, я приму это как судьбу, или даже заметив, что он мною стал тяготиться, отойду сама!» Но ей не пришлось отойти. Прожив долгую счастливую жизнь с нею, Жан до последнего ее дня горячо любил своего «маленького котенка».

Пожились они в Париже, в мэрии, гражданским браком. Не веря в бога, в церкви они не венчались. У Альбины была подруга, которая отшатнулась от нее за это и которая писала ей, упорно называя ее «мадмуазель Завадовская». В то время Жан работал трубочистом на фабриках. Это было очень тяжело.

Приходилось лезть в топку, когда та еще не совсем остыла, было жарко, сажа и зола въедались в кожу так, что он не мог отмыться дома.

Николай Никандрович писал Альбине, что она должна настаивать, чтобы он отмывался как можно тщательнее, что сажа очень опасна и вредна: уже тогда на основе статистики английских врачей было известно, что сажа вызывает рак кожи.

Жан не прерывал своей связи с профсоюзами. В последующие годы его исключительные способности поднимали его по лестнице общественной деятельности все выше.

У Альбины и Жана к моменту моего рассказа было четверо взрослых сыновей: старший, Жан-Пьер – врач, Андре – музыкант-исследователь, Эрик – художник, и Ален – пианист.

В Солони Николай Никандрович проработал семнадцать лет. Он оказался замечательным диагностом. Прослышав об его искусстве, к нему приезжали больные из других департаментов.

Он мог зарабатывать большие деньги, но был бескорыстен. Неимущих он лечил бесплатно и не только лечил, но частенько давал и деньги на лекарства.

Кюре говорил ему: «Я знаю, что вы не верите в Бога, но вы самый лучший из моих прихожан».

Поселившись в Париже, старшая дочь Жанна стала звать к себе отца, уже глубокого старика. Он приехал, оставив практику молодому врачу, которому нелегко было начинать свою работу, потому что слава о чудодейственном враче не погасала очень

долго в рассказах и даже легендах о докторе Завадовском.

В Париже они жили большой семьей. Ни Жана, ни мужа Жанны, Бернара, с ними не было. Жан, призванный как солдат второго класса на «странную войну», после начала наступления немцев с разрозненными остатками своей части очутился в Эльзасе, откуда сумел перейти границу и был интернирован в Швейцарии. Бернар – коммунист – оказался в немецком концлагере.

У Альбины было уже два сына, у Жанны – две дочери, все мал-мала меньше. Альбина работала на двух работах и приносила деньги. Жанна занималась хозяйством.

Николай Никандрович ежедневно с шести утра отправлялся в очередь за молоком для детей и за хлебом. Молока не было, достать его было подвигом. Николаю Никандровичу было уже семьдесят семь лет.

Однажды вечером он почувствовал себя плохо, настолько плохо, что не сумел скрыть это от дочерей. Ночью Альбина встала к нему – проведать. «Спи, спи, – сказал он ей, – тебе завтра работать, спи, уже все прошло, все хорошо», а утром его застали без сознания.

К полудню он умер. Так и в конце своей жизни он никого не затруднил заботами о себе. После его смерти стало неодолимо трудно, и дочери полностью смогли оценить, как велика была его помощь.

Это было в 1940 году. Незадолго перед смертью Николай Никандрович радовался, что Россия избежала войны.

ЧУВСТВО

– Я поняла, – сказала я как-то Альбине, возвращаясь к теме о Николае Никандровиче, – что твой отец был женат очень недолго и не очень был счастлив в браке... У него никогда не было других увлечений?

– У отца? Увлечений? – удивилась Альбина, таким это показалось ей невероятным.

– Я тебе покажу, – сказала она, – фотографию той девушки, с которой он был дружен в Николаеве. – И она достала фотографию.

– Вот эта девушка, – продолжала Альбина, – это Зоя Ге, дочь или родственница знаменитого художника.

Зоя Ге! То самое имя, которое встречалось мне в обвинительном акте и затем в листке наблюдений полиции! Та самая Зоя Ге, письмо о судьбе которой не давало жандармам спустить глаз с Николая Завадовского во время его жизни в России после процесса!

– Отец любил ее в юности, – сказала Альбина, – но она его отвергла.

Альбина была холодна как лед. Она не простила Зою. Ее гордость была уязвлена.

– А потом, – также холодно продолжала Альбина, – она прислала ему письмо уже сюда, в Париж. Она звала его приехать или хотела приехать к нему... соединить с ним свою жизнь... Но отец ей ответил, что уже женат, – с торжеством закончила Альбина.

Альбина не любила Зою. Но не слишком ли сильно не любила? Чего, чего она не могла простить Зое?

Уязвленного самолюбия отца? Но все это было так давно! И что значит в потоке жизни какой-то давний отказ молодой девушки юноше, давно изжившему свое чувство. Почему же так страстна, так жива была неприязнь Альбины? Альбины, которая всегда брала под защиту обиженного, страдающего, пораженного болью? Чего, чего она не могла простить Зое?

Прошло несколько дней, и в новом разговоре о Николае Никандровиче уже в другом настроении, с теплотой и сожалением вспоминая отца, Альбина сказала:

– Он очень тосковал по России. Ему говорили – вы так давно живете во Франции, вам надо натурализоваться, а он не хотел, он хотел оставаться русским. Я знаю, он был очень одинок... И, когда пришло то письмо от Зои Ге, о котором я тебе говорила, он очень взволновался... Я не помню, я была тогда слишком мала. Никому о том письме не сказал, когда получил его. Уже потом рассказал мне об этом. Это был редкий момент его откровенности, он ведь был очень скрытен, но как-то он сказал мне о Зое и о том письме...

Слушала я ее и чего-то не понимала. Что-то здесь с чем-то не вязалось. Как могла женщина уже средних лет, некогда отказавшая человеку, любившему ее, как могла она вдруг почти двадцать лет спустя написать ему «приезжай» или «я приеду к тебе»? Ведь так можно написать спустя двадцать лет только очень близкому, родному человеку, которого знаешь, как самого себя, человеку, в котором безусловно уверен?



*Зоя Григорьевна Ге.
Фотография конца 1870-х годов*

Но тут я вспоминаю фразу Альбины, когда она рассказывала о жизни отца в Минске: «Девушка, которую он любил, как только он попал в тюрьму, вышла замуж...»

Так не это ли не могла простить Альбина Зое? Боли своего отца, сильнейшего удара в самый беспросветный момент его жизни, там, в Минске, где он, вероятно, узнал о ее замужестве, и что нанесло ему незаживающую рану.

Альбина говорила мне: отец никогда не изменял своим убеждениям. Не принадлежал ли он к тем редким людям, которые никогда не могли изжить своего чувства?

Вернувшись в Москву, я не смогла сразу заняться поисками сведений о Зое Ге.

Умерла моя мать. Я очень тяжело переживала это. Для меня благом, хоть на время уведившим от боли, явилось печатание для самиздата «Технологии власти» Авторханова. И еще встречи с людьми, которые интересовались моей поездкой во Францию.

Тут не все шло гладко. Например, когда на квартире своей приятельницы я рассказывала группе туристов (это были женщины преклонных лет. Молодцы! Две из них даже путешествовали по Лене!), я встретила недоумение и недоверие.

Во Франции мне не верили коммунисты, когда я рассказывала о наших «выборах без выбора», здесь, в Москве, мне не верили советские люди, когда я говорила, что рабочие во Франции вовсе не умирают с голода, как моим слушательницам представлялось, что

они фактически имеют больше, чем у нас, что их против предпринимателей защищает профсоюз, что плата врачам и за лекарства наполовину возмещается, а хроники и вовсе лечатся бесплатно, и так далее, и так далее.

Они не верили моим тетрадям с записями, моим расчетам, моим выводам... Молодые, присутствовавшие при беседе, слушали жадно, прерывали старушек, но тех было больше, они меня «заклевали» привычными для них штампами, и я ушла посрамленная.

Конечно, не во всяком обществе было так.

Только закончив работу над «Технологией власти» и моими записями о Франции, я смогла обратиться к поискам.

Портреты

Прежде всего Биобиблиографический словарь. Читаю там среди прочего: «узница Петропавловской крепости». Крепость! То письмо, опять то письмо! «Писано оно лицом, содержащимся в крепости, причем сообщается сущность данных некоторыми лицами показаний и говорится: У ПРОКУРОРА НА ПРИМЕТЕ ВЫ ОБА».

Пишу в музей Петропавловской крепости. Альдина Ивановна Барабанова – сотрудник музея – любезно отвечает мне: да, Зоя Григорьевна, племянница художника Николая Николаевича Ге, была узницей крепости. Она проходила по делу Крайского, Чижова и других. Это была часть большого дела о военной организации. Из привлекавшихся только четырнад-

цать были преданы суду: процесс Веры Фигнер и военных. Десятки других лиц получили наказания не по суду, а административно. Все следствие шло под руководством генерал-майора Середы.

Альдина Ивановна советует мне прочесть статью Троицкого в № 9 журнала «Искусство» за 1971 год «Репин и Народная воля».

В статье читаю: «З.И.Крапивин установил, что известная картина Репина “Украинка у плетня” представляет собой не что иное, как портрет народоволки Зои Григорьевны Ге», и указан сборник «Новое о Репине», Ленинград, 1969 год. В сборнике есть статья З.И.Крапивина «Из жизни и творчества И.Е.Репина в Париже».

«Сюда приехала в 1874 году, – пишет автор, – семья Г.Н.Ге (брат художника Н.Н.Ге)... Закончил или нет Репин писать портрет Зои Ге, до сих пор не было известно, не значится портрет и в списке работ Репина. Фотографический портрет, напечатанный в Биобиблиографическом словаре, и фотографии в архиве ее наследников дают право утверждать, что “Украинка у плетня”, написанная Репиным в 1876 году, является ее портретом. Это подтверждает и дочь, Надежда Григорьевна: “Глаза, нос, складки губ и особенно взгляд – это точные копии моей матери...”» (С. 380).

В сборнике есть репродукция: летний вечер, высокий темный плетень, девушка в расшитой украинской рубашке, над лентами повязки – волнистая копна коротких темно-русых волос, черные длинные брови и продолговатые, ей одной свойственного разреза глаза с опущенными внешними краями их. Вы-



*Картина И.Е.Репина «Украинка у плетня»,
написанная им с Зои Ге в Париже в 1876 году*

ражение очень спокойной, глубокой, серьезной мысли, вдумчивое, а слегка поджатые уголки губ словно говорят: «А все-таки это будет так!» с нажимом, но спокойно, уверенно... Вот такая она была, Зоя Ге! В 1876 году, когда писался портрет, ей было пятнадцать лет.

Но главное для меня, что я вычитала в статье, были эти слова: «ДОЧЬ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА». Значит, у Зои Ге есть дочь!

Но как ее разыскать?

По адресному столу нахожу Крапивина. Зиновий Иванович дает мне адрес, но в успехе он не уверен. Пишу в Геленджик. Получаю письмо от Ганиной Нины Георгиевны, племянницы Надежды Григорьевны. Она – художница-флористка.

«Только что отправила Ваше письмо Надежде Григорьевне, – пишет она мне, – спешила это сделать, так как вчера получила от Надежды Григорьевны очень грустное письмо о том, что, имея 88 лет, она совершенно выбилась из строя. Сейчас Надежда Григорьевна часто теряет сознание, и я спешила написать ей о Вас, может быть, ее порадует, что близкие друзья Зои Григорьевны о ней вспомнили! Все уже умерли, осталась одна Надежда Григорьевна...»

Надежда Григорьевна откликается немедленно. Какая удача – она живет в Москве!

«Буду ждать Вашего письма». Но письма я не написала. В первый же воскресный день я поехала сама.

Узнав, чем я интересуюсь, Надежда Григорьевна оживает. Тотчас с полоч достаются большие альбомы и начинается рассказ с того момента, кото-

рый удерживает память Надежды Григорьевны – с последних лет жизни художника Николая Николаевича Ге.

Много-много интересных вещей я узнала. О юности Зои Ге я не узнала ничего.

А через несколько месяцев Надежда Григорьевна умерла. Нить моих поисков казалась оборванной.

В 1976 году приехали к нам в гости Жан с Альбиной. И мы их провели в Ленинскую библиотеку.

Мы взяли Биобиблиографический словарь и нашли статью о Завадовском. И тут Альбина увидела его портрет. Она посмотрела оторопело и вдруг воскликнула со свойственной ей экспансивностью:

– Но это же не он! Это не его фотография! Какая ошибка! Ты же видела его портрет у меня, помнишь? Тут же нет никакого сходства!

Прошло несколько лет. И вот однажды раздался телефонный звонок.

– Мы с вами не знакомы, – услышала я женский голос, – но не удивляйтесь. Я – внучка Зои Григорьевны Ге – Ольга Севастьяновна. Я знаю, что вы интересуетесь моей бабушкой. Она еще вас интересуется?

Еще бы! И мы договорились встретиться.

Ольга Севастьяновна Кузнецова – живая душа, способная зажечься интересным делом до самозабвения. Но тогда я еще этого не знала. У нее я застала уже знакомую мне дочь Надежды Григорьевны, Тамару Федоровну, как вскоре выяснилось, замечательную певицу, и мужа Ольги Севастьяновны – Николая Николаевича. Я замечаю, что в этой семье

мужчин, за редким исключением, зовут или Николаями или Григориями.

Интересный вечер! В итоге нашего знакомства я получаю в подарок краткую и четкую биографию Зои Ге, написанную Ольгой Севастьяновной, узнаю об интереснейшем документе: Ольга Севастьяновна вслух читает мне отрывки из воспоминаний своей бабушки о ее аресте, написанные по просьбе Льва Николаевича Толстого. Толстой, собираясь писать «Воскресение», очень интересовался переживаниями арестованных и всеми подробностями тюремного заключения. В 1899 году Зоя написала свои воспоминания.

Вот письмо Толстого об этой рукописи.

«1899 февраля 19–20, Москва.

Я, кажется, писал Вам в открытом письме, но боюсь, что оно не послано и у меня затерялось. Пишу Вам, чтобы очень поблагодарить Вас за Ваши воспоминания, они так правдивы, просты и потому производят сильное впечатление. Очень благодарен Вам за них. Может быть их можно будет и за границей напечатать...»¹⁰

В России нельзя! В России, конечно, нельзя! Как у нас в той же России почти сто лет спустя!

Ольга Севастьяновна показывает мне и другие письма. Так я знакомлюсь с ее семейным архивом. Разрешает она мне воспользоваться и результатами ее работы в музеях, библиотеках, архивах.

Все это богатство дополняет то, что я сама разыскала.

¹⁰ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т. М., Л., 1928–1964. Т.33. С.382.

Дело

Утро

У Зои Ге была счастливая юность. Если и было облако в ее детстве, то это был, вероятно, разрыв между родителями, когда мать Зои уехала с детьми в Швейцарию, а отец, Григорий Николаевич Ге, человек пылко увлекающийся и живущий вне условностей, остался в Николаеве с «женой коллежского асессора Сильванской» (как она именуется в полицейских документах), которая открыто поселилась в его доме.

Вот что пишет о Григории Николаевиче Стасов:

«Григорий Николаевич еще в молодости был красивый, стройный, отличавшийся еще в киевской гимназии вместе с братом Николаем способностями к рисованию, которого не покидал и впоследствии, и в своем кругу, по его словам, “умел стяжать славу как рисовальщик военных сцен и в особенности как карикатурист”... Не покидал рисования и впоследствии... выказал свое умение видом мастерской Н.Н.Ге на его хуторе, нарисованном им в 1894 году через несколько дней после смерти Николая Николаевича...»¹¹

К этому можно добавить прекрасную акварель в коричневых тонах могил Николая Николаевича и Анны Петровны Ге под густыми деревьями сада.

¹¹ Стасов В.В. Н.Н.Ге, его жизнь и произведения. М., 1904.

«Седым юношей» называет его автор посмертной статьи, написанной в 1911 году¹². «Этот маститый старец, убеленный сединами», читаем мы в ней, «до конца своей труженической... и полезной жизни оставался юношей мечтательным, чистым, отзывчивым и благожелательным... Всякая благородная мысль, общественное начинание встречали в нем горячую поддержку словом и делом... Как гласный, он серьезно относился к своим обязанностям, и его речи в думе всегда отстаивали только то, что действительно могло принести пользу городу, который он любил и которому он служил не за страх, а за совесть... Организовал в Николаеве драматический кружок... Крылатым словом увлекал безусых юношей, пробуждая в них лучшие человеческие чувства... Труд, упорный труд проходил через его долгую жизнь... С раннего утра до поздней ночи был занят... писал журнальные статьи, заседал в разных комиссиях...»

Добавим: создал публичную библиотеку в Николаеве, написал историю города, роман «Софья Малич», пьесу «Ганнуся» для театра Крапивницкого и другие пьесы, а также воспоминания о своем брате Николае Николаевиче Ге¹³.

О матери Зои Ге известно мало, как и о ее сестре Ольге. Две другие сестры: Мария в описываемое время еще училась пению, а в 80-х годах выступала в театрах Киева и других городов под псевдонимом Ма-

¹² Статья из неустановленной газеты города Николаева. Архив О.С.Кузнецовой.

¹³ Журнал «Артист». 1894. Кн. 44 и 45.



*Григорий Николаевич Ге.
(1828–1911)*

рии Гай; другая сестра, красавица Вера, обладающая способностями к живописи, была в одно время ученицей Поленова. Младший брат, в то время еще мальчик, – в будущем известный артист Александринского театра в Петербурге, драматург Григорий Григорьевич Ге¹⁴.

В Париже, куда семья переехала из Швейцарии в то время, как пенсионер Академии Художеств, находился Илья Ефимович Репин. В начале 1875 года Репин начал писать портрет Зои Ге.

«С Зоей сеансы затянулись, – рассказывает Репин в письме к Екатерине Федоровне Юнге от 26 августа 1875 года¹⁵, – девицы отстали от мужчин, потом наступила жара, так что до сих пор не кончил».

С сестрами Ге Репин встречался на вечерах у Боголюбова, у Виардо, в семье Ге, на пикниках, выставках, концертах. Кипучая жизнь Парижа захватила девушек целиком.

Париж семидесятых годов прошлого века...

Парижская Коммуна пала, но героическая борьба ее не пропала даром: во Франции установилась республика. Репин пишет: «Вся страна представляла полную свободу веселья молодой жизни просвещенного народа...»¹⁶

Весело живет и русская колония.

«О наших развлечениях, – пишет Репин Екатерине Юнге в уже упомянутом письме. – По воскресе-

¹⁴ В советское время – заслуженный артист республики.

¹⁵ Новое о Репине. Л., 1969.

¹⁶ Репин И.Е. Далекое близкое. М.: Искусство, 1953. С. 289–290.



*М.Д.Ге с детьми в группе русских художников.
На фотографии слева направо (верхний ряд): К.А.Савицкий,
А.К.Беггров, И.Е.Репин, Мария Дмитриевна Ге и В.М.Максимов.
В нижнем ряду: В.Д.Поленов, Зоя Григорьевна, Григорий
Григорьевич и Вера Григорьевна Ге (дети М.Д. и Г.Н.Ге),
жена Репина Вера Алексеевна с дочерьми Надей и Верой
и жена художника Дмитриева-Оренбургского.
Фотография 1870-х годов. Париж*

ням ездим в Комьпъен большой компанией, играем во все игры к великому соблазну французов... Поем хором по нотам разные песни. Учимся верховой езде в манеже... Я пишу “Садко”, поправляю “Кафе”, пишу “Странников” и “Вниз по Волге”».

Живо рассказывает Вера Григорьевна Ге о встрече Нового года у Боголюбова, где каждый должен был явиться в costume какой-нибудь народности России, о масленице в семье Ге в складчину, когда, не сговорившись, почти все принесли вино, а после блинов отправились на пустынный еще тогда Монмартр, и там, радуясь необычному для Парижа снегу, устроили азартную баталию снежками...¹⁷

Объединяет кслонию художник-маринист Алексей Петрович Боголюбов, назначенный опекать художников - пенсионеров Академии. Его салон посещают художники, музыканты, артисты, писатели, революционеры. Здесь бывают Савицкий, Маковский, Тургенев, Лопатин, похитивший в 1870 году из ссылки П.И.Лаврова и неудачно пытавшийся увезти Чернышевского, здесь бывают члены кружка чайковцев – сестра Веры Фигнер Лидия, – и много-много других интереснейших людей.

Жизнь русской колонии бьет ключом. А вот коллективная фотография «И.Е.Репин в кругу друзей в Париже»¹⁸.

В верхнем ряду: Савицкий, Беггров, Репин, Мария Дмитриевна Ге (мать Зои), Максимов. Сидят:

¹⁷ Воспоминания Веры Григорьевны Ге. Из архива О.С.Кузнецовой.

¹⁸ Новое о Репине.

Поленов, Зоя Ге, младший брат ее, Гриша, жена Репина с детьми, жена Дмитриева-Оренбургского.

У Зои серьезный, чуть насмешливый, пристальный, затененный взгляд.

«У нее были особенные глаза, – рассказывали ее внучки, – темно-темно серые, и при том не длинные, но очень густые ресницы, и ресницы эти и чуть опущенные внешние уголки век прикрывали глаза тенью. Если у большинства людей глаза блестят, отражают, то ее глаза – нет, в них чудилась загадка, тайна».

Рассказы, разговоры, свежие веянья, замыслы, идеи талантливых людей, ее окружающих, их юмор, их грусть, их веселье, их сожаления о российской отсталости и несвободе – это море искусства и живой мысли – все это молодая, формирующаяся душа девушки впитывает, глубоко закладывая в свой фундамент... Таково солнечное утро ее сознательной жизни.

Иное

Получив среднее образование в Швейцарии и Париже, семнадцати лет Зоя уезжает на родину. И вскоре – скупое скользит упоминание об этом в Биобиблиографическом словаре – первое столкновение с российской действительностью: в Петербурге, на квартире арестованной Краснокутской, она попадает на обыск...

Она ехала в Петербург, чтобы поступать на Бестужевские курсы. Но почему она останавливается

именно у Краснокутской? Какие нити ведут ее к революционной молодежи столицы, кто рекомендовал ей остановиться там? Этого проследить не удастся. Известно, что Зоя сперва вернулась к отцу в его имение, потом с ним в Николаев, в 1880 году поехала в Одессу к тяжело больной матери.

В Одессе после смерти матери (первое большое горе в ее жизни) она опять живет у знакомой, на этой квартире ее не только обыскивают, но и подвергают кратковременному домашнему аресту.

«В конце 1880 года я ожидал мою дочь Зою к себе в Николаев на рождественские праздники – объясняет на допросе Григорий Николаевич Ге¹⁹, – но приехала она после Нового года, сообщив, что была арестована вместе со своей знакомой...»

Показания на допросах скупы и сдержаны, допрашиваемые, естественно, строят из себя людей не осведомленных, не понимающих, чего от них хотят, признают только те факты, от которых отпереться нельзя.

Поэтому мы ничего не знаем о внутренней линии этих знакомств. Но вот отрывок из рекомендации, данной Верой Фигнер Зое Григорьевне Ге в общество Политкаторжан пятьдесят четыре года спустя:

«Зою Ге знала в 1880 году в Николаеве, ввела ее в революционную работу среди военных в Николаеве и во время моего пребывания в Одессе»²⁰.

¹⁹ Судебно-следственные материалы процесса 14-ти по делу о народовольческой организации // РГВА. Ф.1351. Д.5594. Л.142, 224, 378.

²⁰ Из архива О.С.Кузнецовой.

В «Обзоре важнейших дознаний» читаем о военном кружке Ашенбреннера²¹:

«Два раза посетила их Вера Фигнер, проезжавшая через Николаев, отправляясь в сентябре 1881 года в Москву... а также возвращаясь оттуда в Одессу...

Она останавливалась в квартире Зои Ге – слушательницы акушерских курсов, куда послал Ашенбреннер Талапиндова провести ее на конспиративную квартиру офицеров».

На допросе Зоя отрицала свое знакомство с Ашенбреннером, но пятьдесят четыре года спустя она напишет Вере Фигнер: «Милая Вера Николаевна, прости, что беспокою тебя, но у меня к тебе просьба и вот какая: я вздумала получить пенсию. Конечно, данных для этого мало, но я попробую. Обратилась в Общество Политкаторжан. Мне дали заполнить анкеты. И нужно две подписи знающих меня людей. Из знающих меня почти никого не осталось. Ашенбреннер умер, другие тоже...»²²

Кроме ссылки на Ашенбреннера, как на хорошо ее знавшего, обратим внимание на характер письма. Это письмо к старому, хорошо знакомому другу. Зоя Григорьевна обращается к Вере Фигнер на «ты».

Итак, мы не знаем, с чего и как началась причастность молоденькой Зои к революционному движению в России, знаем только, что началась она вскоре после ее возвращения.

²¹ Обзор важнейших дознаний по Империи с 1 июля 1883 по 1 января 1884 // ГАРФ. Ф.102. Оп.252. Д.3. Л.18 об.–19. Михаил Ашенбреннер – штабс-офицер, командир батареи Прагского полка, глава революционной организации офицеров в Николаеве.

²² Из архива О.С.Кузнецовой.

И сразу попадает она в среду первых революционных деятелей того времени. Как в Париже довелось ей вращаться среди цвета русской культуры, так и здесь она оказывается в окружении фигур.

Ближний круг

Когда после первого кратковременного ареста в Одессе Зоя приехала к отцу в Николаев, упрекнул ли он ее за предосудительные знакомства? Ответ может быть только один: нет. Мы уже знаем о нем: никогда душевно не старевший, горячо отзывавшийся на всякое живое дело. Добавим к этому:

«... Из отзыва помощника начальника Херсонского Губернского Жандармского Управления к производящему настоящее дознание видно, что Григорий Николаевич Ге и все его семейство отличаются крайне вредным в смысле политическом направлением...»²³

Григорий Николаевич дружит с секретарем Николаевской земской управы Леонидом Ивановичем Голиковым: нет ни одного допроса Григория Николаевича, где бы следователь ни пытался выяснить глубины этой дружбы. Читаем в «Обзоре важнейших дознаний»²⁴:

²³ Обвинительное заключение по делу Юго-Западной группы «Народной воли» // Вестник Народной воли. 1886. № 5. Ч. IX: Относительно студентов Ник. Завадовского и Евгения Степанова.

²⁴ Обзор важнейших дознаний по Империи с 1 июля 1883 по 1 января 1884 // ГАРФ. Ф. 102. Оп. 252. Д. 3. Л. 19–19 об.

«На возвратном пути из Москвы Вера Фигнер остановилась у Леонида Голикова, одного из подсудимых бывшего Нечаевского процесса, привлекавшемуся с тех пор к целому ряду дознаний о социал-революционной пропаганде и занимавшему должность секретаря Николаевской Земской Управы. Он хотя и был знаком с Ашенбреннером и Мицкевичем и даже, по всей вероятности, доставлял им запрещенные издания, но вел себя крайне осторожно и никогда не показывался на собраниях офицеров Прагского полка...»

Не через Голикова ли и знакомство с Верой Фигнер? Не он ли дал адреса в Петербурге и Одессе, где Зоя могла остановиться, и она подверглась обыскам и аресту? И, наконец, не через нее ли, не показываясь на собраниях кружка, передавал Голиков запрещенную литературу для кружка Ашенбреннера?

Нет, Григорий Николаевич не мог упрекнуть Зою за ее «предосудительные знакомства»!

Может быть, новая семья отца (а в особенности когда горе потери матери было еще свежо) и отдалила Зою от него на какое-то время, тогда как отношения между отцом и дочерью сохранились самые дружеские. Отец предоставляет Зое полную свободу. К делу приложено свидетельство Николаевской городской полиции, выданное «дочери надворного советника девице Зое Григорьевне Ге вследствие просьбы отца ее на свободное жительство во всех местах Российской Империи...»²⁵

²⁵ Судебно-следственные материалы процесса 14-ти по делу о народофильской организации.

И даже Любовь Алексеевна Сильванская, фактически мачеха Зои, показывает на допросе: «С лета 1881 года у нее собиралась молодежь... Я редко заходила, боясь стеснить...»

Возможно, никакой симпатии между мачехой и падчерицей нет, но оговорка Сильванской «боясь стеснить», показывает, что у нее к Зое – отношение уважения, деликатности и уступок. Вероятно, такие отношения в семье были заслугой обеих сторон. Причиной их, возможно, была сама Зоя со своим спокойным, независимым и твердым характером, вызывавшая невольно к себе уважение и необходимость считаться с нею, и либерализм ее отца, которому, с широтой и свободой его воззрений, деспотизм был органически чужд.

Вчитаемся в показания Сильванской:

«Перебравшись из Одессы, сперва жила со всею семьей, потом перебралась во флигель, где занимала две комнаты с отдельным входом. С лета 1881 года у нее собиралась молодежь, засиживалась допоздна, читали вслух... Из гостей знаю студента Киевского университета Николая Никандровича Завадовского, Евгения Филипповича Степанова и студента Одесского университета Алексея Ефимовича Кротова. Они приходили к Ге чуть ли не каждый день и во всякое время... Гости читали вслух, остальные слушали... Засиживались нередко до одиннадцати часов ночи...»²⁶

Если дело Завадовского и Степанова пестрит именем Зои Ге, то во всех допросах по поводу дея-

²⁶ Там же.

тельности Зои в Николаеве мы непременно наткнемся на эти два имени: Евгений Степанов, Николай Завадовский. Упоминается там и Кротов, но реже, меньше.

Степанов учился в одной гимназии с Завадовским, в одном классе, хотя Степанов Завадовского был моложе на два года. В 1881 году, когда он начал готовить двадцатилетнюю Зою к поступлению на курсы, ему было шестнадцать лет.

А теперь представим себе то впечатление чуда, которое могла произвести Зоя на провинциальных юношей, когда она появилась в доме своего отца, еще переполненная впечатлениями от вольной и яркой жизни в Париже, уже осененная тайной своего ареста в Одессе, своих удивительных знакомств.

Зоя была «жизнерадостна, остроумна, смешлива, любила потанцевать и повеселиться», пишет о ней в своих воспоминаниях сын ее Севастьян²⁷, и «обладала необыкновенной притягательной силой, пользовалась бóльшим успехом, чем красавица Вера, всегда была окружена молодежью, имела много друзей среди молодежи Николаева и Одессы, куда иногда ездила».

И как обаяние красоты и душевной силы Веры Фигнер влечет за ней все новых и новых последователей, так – в своей, меньшей области – обаяние Зои Ге втягивает в ее орбиту очарованных ею юношей.

О чем говорили они при своих встречах? Нет сомнения, что ведущей этих встреч была Зоя. О чем

²⁷ Воспоминания Севастьяна Григорьевича Рубана. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

она могла рассказывать им? Вероятно, сперва речь шла о Франции, о Париже, об искусстве и музыке, о картинах Репина и Маковского, а может быть, и о «Тайной вечере» Ге, или о музыке Рубинштейна, пении Виардо и Панаевой... В открытом гостеприимном доме Ге искусством было пронизано все. Как уже говорилось, Григорий Николаевич писал пьесы, рисовал, хотя и не систематически, а по капризной прихоти талантливого человека. Когда залетала Мария Гай – актриса труппы Крапивницкого, она пела и разыгрывала сценки...

С этого началось. Чистая и сильная душа доверчива, верить в людей – ее характерная особенность, и Зоя посвящает друзей в опасные свои тайны. Впрочем, Зоя знает: друзья пойдут за ней в огонь и в воду. И еще – не исключено – вербовать последователей было советом Веры Фигнер. Веры Николаевны, которая, встретив в Зое горячий отклик, быстро и легко подружилась с нею, хотя и была старше Зои на девять лет.

Искра упала. И тут ведущая роль Зои кончается. Теперь они сами с юношеской безоглядной смелостью бросаются в действие. Им не хватает осторожности, опыта, горячее рвение у них в избытке. Военные кружки Николаева и Одессы. Нет сомнения, что Зоя связала с ними друзей. И что Завадовский был посредником между Николаевским и Одесским кружками.

Из донесения помощника начальника Херсонского губернского жандармского управления по Херсонскому уезду видно, что «Завадовский и Степанов,

проживая в Николаеве, вели постоянные знакомства с лицами, известными Жандармскому управлению своей неблагонадежностью, впоследствии арестованными и привлеченными к делам политического характера, причем Завадовский своим таинственным образом жизни и частыми поездками в Одессу возбуждал подозрения в сношении с членами революционного сообщества».

И далее:

«Когда Зоя Ге проживала в доме отца, то у нее гостила Вера Фигнер (по мужу Филиппова), причем Зоя Ге принимала участие в революционных кружках в городе Николаеве среди офицеров, и ее весьма часто навещал Завадовский»²⁹.

«Капитал» и мотыльки

Ольга Севастьяновна – внучка Зои Григорьевны – передала мне то, что ей самой некогда рассказывала бабушка: «Они изучали “Капитал”». Я удивилась: «“Капитал”? В то время?»

Но вот я читаю у Веры Фигнер:

«Порой Ашенбреннер, хорошо изучивший Маркса, читал реферат по “Капиталу” или какую-нибудь другую политико-экономическую тему, а когда был в “ударе”, излагал различные философские системы, на что был большой мастер»³⁰.

Так вот где они читали «Капитал»!

²⁹ Обвинительный акт по делу Юго-Западной группы «Народной воли» // Вестник Народной воли. 1886. № 5. Ч. IX.

³⁰ Фигнер В. Запечатленный труд. С. 237.

Зоя, молоденькая девушка, бывала среди этих немолодых уже офицеров, в замкнутом военном кружке Ашенбреннера? Но почему это должно быть так уже невероятно? Вера Фигнер пишет: «Они (то есть военные) были слишком далеки от волнующейся революционной молодежи учащихся, чтобы она могла их заразить своим идеализмом и энтузиазмом»³¹.

Так не потому ли Вера Фигнер ввела Зою в эти кружки, чтобы разрушить плотный барьер изолированности и дать ворваться в замкнутое на себя самих существование офицеров самому живому ключу современности? Контакт, связь, дружба с молодежью!

И если талантливый, начитанный, обогащенный опытом жизни и философских раздумий, блестящий рассказчик, ни одной улыбкой не обесценивающий мягкой глубины своего юмора, Ашенбреннер оказывал неотразимое влияние на Зою и ее друзей, то ведь и Зоя и ее молодые друзья не могли не оказать влияния на этих думающих офицеров, соприкоснувшихся через них с кипучей жизнью самых активных слоев общества. Влияние было взаимно.

И, засиживаясь до позднего часа ночи, что читали вслух молодые люди друг другу по очереди при напряженном внимании слушающих? Не ту ли самую литературу, которую на другой день спешила Зоя или ее друзья отнести военным, а затем послушать их мнения и в первую очередь комментарии Ашенбреннера? Кто знает, быть может, и Зоя и Коля Завадовский иной раз возражали и оспаривали мнение

³¹ Там же.

самого Ашенбреннера? Это могло вызывать у офицеров улыбки, но и не проходило без следа, что-то зароня, что-то пробуждая, что-то зажигая?

Вероятно, у молодежи имелась связь и с кружком молодых моряков. Недаром среди допросов по делу встречается заявление о том, что Ювачев – член кружка моряков -- жил или бывал в доме Ге...

Талапиндов³² в своих «откровенных показаниях» говорит о «гражданском кружке» (кроме военного), который Зоя также снабжала литературой. Что это был за кружок? Где он собирался? Не та ли это была тесная дружеская компания, которая проводила вечера у Зои?

Летняя южная ночь в комнате Зои. Душно, горит керосиновая лампа или свеча, в стекла бьются бабочки, комары и жучки. Нет, не потому закрыты окна, что тут опасаются чьих-то ушей. Здесь еще слишком беспечно, слишком несведущи в конспирации. Зоя не хочет, чтобы бабочки обжигали себе крылья.

Склонившись к столу, они читают, быть может, «Воззвание Исполнительного Комитета к Александру III», читают уже не в первый раз – этот замечательный, выдержанный в спокойных тонах документ, обращенный к разуму правителя, призывающий его широко взглянуть на судьбы своей страны и ход истории... Они читают, тени лампы испуганными крыльями мечутся по стенам при каждом движении слушателей. Читает Зоя. Ее чистое лицо серьезно, пышные волнистые волосы как облаком окружают

³² Офицер кружка Ашенбреннера.

его, густые ресницы опущены к тексту. Коля Завадовский не в силах отвести взора от ее затененных глаз, пытливых, вдумчивых, чуть насмешливых, маниющих его своей тайной... Но серьезность документа заслоняет все. Речь идет о Временном правительстве, выбранном на основании равного, тайного, всеобщего избирательного права народном собрании... «Итак, Ваше Величество, решайте. Перед Вами два пути...»

Она закончила. Тишина. И хотя они уже знают содержание, каждый раз – впечатление огромное.

Мы говорили о счастливой юности Зои. Но разве это не счастье? Молодая обаятельная девушка, которая не может не сознавать своей власти над сердцами этих вот юношей вокруг нее, но почерпнувшая из своего успеха не тщеславное желание властвовать, а только – сознание своего единства с людьми, любовь, дружбу, бесконечную симпатию к людям и веру в них.

Она окружена любовью, поклонением, вниманием, уважением. Но не это, не это главное для такой девушки, как Зоя. Главное другое – они, молодые, вступают в борьбу, во имя обездоленных, погранных и темных, во имя которых они прикоснулись к тому, что зажигает, волнует лучших людей их времени, и не только прикоснулись, но и являются активными **ДЕЯТЕЛЯМИ**, сознающие, что кладут свою лепту на весы судьбы своей родины. И совершенно не важно, что друзья ее – влюбленные в нее юноши, важно, ценно, огромно другое – они **ЕДИНОМЫШЛЕН-**

НИКИ, бойцы той же когорты, с кем полный контакт в мыслях, в стремлениях, в целях. Это ли не счастье, не редкое счастье в жизни молодого существа – знать, что ты живешь не одна, не просто так, не зря и не для себя только, а для большого и светлого дела?

Дело! К нему Зоя и друзья ее стремятся безоглядно. Пока они выполняют поручения: таинственная поездка Зои на два дня в Харьков, которую она всячески будет отрицать на допросе, несмотря на отметку харьковской гостиницы, не менее таинственные поездки Коли Завадовского в Одессу...

Летом 1881 года – подготовка к побегу Фейги Морейнис из Николаевской тюрьмы. «Это дело, – пишет Вера Фигнер, – думали устроить местные офицеры, ходившие в караул в тюрьму. Там они познакомились с Морейнис, которой грозила каторга. Будучи в карауле, один из офицеров должен был вывести заключенную из тюрьмы, а для того, чтобы ее укрыть, требовалась конспиративная квартира»³³.

Молодежь принимала участие в подготовке... Каково же было их разочарование, когда побег не состоялся!

Университеты

Осенью 1882 года, когда Зоя и Коля Завадовский уезжают в Петербург учиться, они полны все того же горячего рвения к делу.

³³ Фигнер В. Запечатленный труд. С. 292.

Надо учиться. Коля Завадовский поступает в университет на юридический факультет, Зоя – сперва на Рождественские курсы, затем переходит на курсы лекарьских помощников, или на акушерские курсы, как значится в «Обзоре», чтобы непосредственно помогать людям, тем самым обездоленным, во имя которых надо переменить политический строй России...

Но уже 10 ноября Коля Завадовский уволен из университета за участие в студенческих беспорядках. Нечего делать – приходится возвращаться в Николаев, но он уже не мог усидеть там – он рвется в Петербург к кипящей студенческой жизни, к новым друзьям, к Зое. И вот он опять в Петербурге, ему даже удается восстановиться в университете, но ненадолго. Товарищ по николаевской гимназии знакомит его со своим братом – Георгием Кузьменко (Косменко), оба – сыновья сложившего с себя сан священника. Дружба возникает сразу на почве единомыслия. Кузьменко и Завадовский распространяют нелегальную литературу среди юнкеров. У Кузьменко – обыск, в него попадает и Коля, оба арестованы. И хотя через несколько дней Колю освобождают, так как у него в тот момент не нашли ничего предосудительного, он уже уволен из университета окончательно!

Зоя, как всегда, окружена друзьями. Через них она попадает в народовольческий кружок Прозоровского. Весной за участие в студенческих беспорядках она уволена с курсов...

Таков «скелет» событий тех бурных осени-зимы-весны. И это было деятельное и веселое время. Вот показания Кузьменко:

«С Зоей Григорьевной познакомился зимой или весной 1883 года. познакомил меня с ней на вокзале Николаевской железной дороги студент Санкт-Петербургского университета Николай Завадовский... С Зоей Григорьевной я встречался в Петербурге не больше трех раз: на вокзале, другой раз на балу в Технологическом институте и еще где-то»³⁴.

Кроме революционной пропаганды были балы, танцы, встречи, веселые вечеринки в компании таких же, как они, споры, смех, шутки, пение, быстро и сразу завязывающаяся дружба. И были, несомненно были, длительные разговоры с глазу на глаз с Колей Завадовским, когда он шел провожать Зою после вечеринки или театра...

И здесь, пожалуй, можно утверждать, что среди друзей Зои наиболее близким другом мог ей быть только Коля Завадовский. О единстве их деятельности говорят протоколы допросов, полицейские справки, показания свидетелей. Повторю: в деле Николая Завадовского ни одной страницы не обходится без имени Зои Ге.

В допросах по делу Зои Ге повторяются бесконечно два имени: Завадовский и Степанов, Степанов и Завадовский. Близкие друзья, товарищи по гимназии. Но Зоя старше обоих, и если она старше Завадовского на два года, то Степанова она старше на четыре, в этом возрасте это – целая пропасть.

Главное доказательство я увидела в альбоме, в старом семейном альбоме семьи Ге. В самом его нача-

³⁴ Судебно-следственные материалы процесса 14-ти по делу о народовольческой организации.

ле, где вдумывающиеся – вглядывающиеся глаза юной Зои еще смотрят пытливо и таинственно... Там фотографии близких, родных, сестер, отца. И среди них одна-единственная, до моего знакомства с ее внучками ими неопознанная, та самая фотография молодого юноши со смешинкой в глазах и чуть пробивающейся мягкой бородкой, та самая, которую я увидела в Париже. Ни Кротова, ни Степанова, никого другого из друзей ее и подруг там нет, есть только одна-единственная фотография – Коли Завадовского, которую она хранила всю жизнь...

Нельзя утверждать, что Зоя ответно любила Николая Завадовского. Нет оснований говорить об этом. Но то, что дружба эта была незабываемой для обоих – вне сомнения. И вне сомнения также то, что не было никакой трещины, никакого надрыва со стороны Коли Завадовского в этой дружбе... Я вскоре приведу отрывок из воспоминаний Зои о последнем свободном дне, о том дне, когда она рассталась со своими друзьями навсегда. И там нет ни следа какой-нибудь тени в ее отношениях с Завадовским. Хочется сказать: гармония дружбы.

Альбина, пристрастная, ревнивая дочь, Альбина ошиблась, сказав это слово «отвергла». Либо не было признания со стороны Завадовского и не было отказа Зои, либо оно было, но Зоя ответила что-либо вроде того, что «мы сейчас не имеем права любить друг друга... Мы еще ничего не сделали для людей, а ведь это – главное».

Тюрьма и воля

Обрыв

Но веселая та зима внезапно оборвалась трагедией: в феврале в Харькове была арестована Вера Фигнер. Ашенбреннер, взявший одиннадцатимесячный отпуск, чтобы связать с единым центром военные кружки различных городов России, был арестован в Смоленске в марте.

Вот что о предательстве Дегаева пишет Вера Фигнер:

«Не только сколько-нибудь видные деятели были названы по именам, но и самые малозначительные лица, пособники или укрыватели разоблачались от первого до последнего, поскольку автор доноса имел о них сведения. Военные на севере, на юге были изменнически выданы поголовно: от военной организации не осталось ничего»³⁵.

Зоя Ге о последнем своем дне на свободе³⁶:

«Шестого августа я сделала после болезни первую осеннюю прогулку. Был чудный лунный вечер. За мной пришли мои лучшие друзья С., З. и К.³⁷ Мы взяли лодку и поехали кататься. Они гребли, я сиде-

³⁵ Фигнер В. Запечатленный труд. С. 369.

³⁶ Воспоминания Зои Ге. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

³⁷ Стенанов, Завадовский, Кротов.

ла, и мы почти молчали, изредка перекидываясь словами. Нам было хорошо, мы были очень дружны, и каждый предавался своим мыслям, слушая плеск воды и глядя на яркий свет луны. В этот вечер не было обычного смеха и шуток и К. не затягивал песню, как это он делал всегда. Не знаю, что собственно думали они, мне же думалось: если бы эта лодка могла меня унести куда-нибудь подальше от берега. И мысль моя не доходила до полного сознания, до полного отчета, а чувствовала что-то жуткое, что я назову теперь предчувствием, то есть, когда разум доходит до известных выводов без участия еще нашего сознания.

Когда мы причалили к берегу, мне подумалось: вот и не уплыли и надо идти...

Был двенадцатый час, и я легла спать. На другой день, седьмого августа, я решила сходить по одному делу и только что собралась, это было в десятом часу, ко мне пришел С.³⁸ и сказал: «А знаете, какая странность? Я пришел с пристани и там по дороге и на нашем углу я всё видел жандармов. Что-то нехорошее, будьте осторожны, нет ли у вас чего-нибудь компрометирующего вас?»

Я сказала, что ничего нет и что сейчас уйду. Он советовал не ходить, еще предостерегал меня, но я все-таки пошла, и мы расстались, увы, – навсегда!

Минут через пять я зашла в дом, где жила семья отца, и в окно увидела идущего по двору отца с жандармским майором. Сейчас же в сенях услышала го-

³⁸ Степанов.

лос отца, он кричал мне: “Зоюшка, вот майор хочет тебя видеть!” Я стояла перед закрытой дверью, и у меня в голове мелькнуло: “Вот оно!”»

Затишье

Сраженные арестом Зои, друзья ждали и своего ареста. Лучше всего было бы скрыться, но они еще не знали, как можно перейти на нелегальное существование. Кроме того, пока Зоя была в тюрьме в Николаеве, они все еще надеялись, что улик против нее не окажется и что ее отпустят. Но дело поворачивалось серьезно: внезапно Зою увезли в Одессу.

Жандармский ажиотаж в Николаеве приутих, друзья поняли, что их не арестуют³⁹.

Но оставаться в Николаеве после разгрома кружка и ареста Зои друзьям было непереносимо, безделье было мучительно. Действовать! Возможно, от петербургских друзей они узнали о намерении воссоздать в Киеве революционную группу. И они рвутся туда. Конечно, Никандру Николаевичу дело преподносится так, что Коля опять хочет учиться. Однако похоже на то, что Никандр Николаевич после петербургских его походов и, зная о дружбе сына с семьей Ге, об аресте Зои и других, не очень-то охотно отпустил его в Киев. Из полицейских справок мы знаем, что материально он всегда обеспечи-

³⁹ Изучение документов жандармских управлений дает основание предполагать, что они не были арестованы умышленно: не прекращая наблюдения над ними, можно было выяснить еще не раскрытые связи (что полностью удалось в Киеве).

вал сына, а тут, уезжая, Коле почему-то пришлось занять у Любви Алексеевны Сильванской десять рублей (об этих десяти рублях мы прочитаем в обвинительном акте).

Но так или иначе – друзья в Киеве. И тотчас начинается их активная деятельность, учеба в университете – лишь ширма. Агентурные донесения говорят о беспрестанных встречах с членами Юго-Западной группы «Народной воли».

Этапы

Николаевская тюрьма. Первый обыск. Первая ночь в камере. Зоя проспала ее как убитая, спала еще днем и еще половину следующей ночи, это была какая-то спасительная реакция. Но, проснувшись на рассвете второго дня, она ясно осознала все происшедшее, и тут наплыла на нее безысходная тоска. Она стала думать о самоубийстве. Можно было повеситься на решетке окна, оторвав оборку от платья. Но окно было видно из «глазка».

«Я еще не знала тогда, – пишет Зоя, – что самыми тяжелыми являются первые семь суток»⁴⁰.

Допрашивать ее начали в Одессе. Пожилой, серьезный, озабоченный – так описывает Зоя генерал-майора Середу.

«После этого допроса, – пишет Зоя, – я стала немного понимать, в чем дело. Карточки, которые мне показывали, были почти все военных. Очевидно, это

⁴⁰ Воспоминания Зои Ге. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

было дело о военной организации, и меня могли серьезно запутать. Кто-то говорил лишнее, я не подзревала здесь подлости предательской, а сразу подумала, что кто-то не выдержал, сломился. Кто же? Я решила упорно стоять на своем и вынудить их побольше раскрыть мне положение дела. Я не знала, насколько я уже скомпрометирована, и поэтому боялась кому-нибудь напортить, признав свое знакомство. Поменьше говорить, прибавить всегда успею».

Из Одессы Зою перевозят в Киев, оттуда в Орел, затем в Москву и, наконец, в Петербург, в Петропавловскую крепость. Зоя описывает тюрьмы, скверную пищу, грубое обращение. Однако и здесь на ее пути встречаются добрые и самоотверженные люди – простые солдаты, конвойные. Вот два случая такого рода.

Первый произошел между Киевом и Орлом. Была уже осень, холодно, ледяной ветер бил в лицо. «Отдал бы вам свою шинель, – сокрушался сопровождающий ее солдат, – так не положено!» И тогда он стал на ступеньку возка, распахнул свою шинель и прикрыл ее полами Зою от ветра. Он мог упасть, ему было очень неудобно, рассказывает Зоя, но как же она была ему благодарна за тепло!

Затем он стал сообщать: какие-то деньги (12 рублей) у начальства для нее есть, так вот пускай она, когда они приедут в тюрьму, скажет, чтобы ей купили теплой одежды.

– Эх, барышня, что же вы пальто не взяли!

– Я не думала, ведь тепло было!

Пусть она скажет, чтобы купили, его пошлют покупать, и он на толкучке купит. Пальто хорошее за

эти деньги не купишь, купишь плохое и некрасивое, а платок за четыре рубля можно купить хороший.

На другой день в Орловской тюрьме Зою повели к начальнику, камеры на ее пути были открыты, заключенные столпились в коридоре и улыбались ей. В кабинете начальника – вчерашний конвойный со свертком под мышкой. Начальник ему: «Ну, показывай, что купил?» Тот, смутившись, стал оправдываться, что торговка не уступала, пришлось отдать за платок 4 рубля 40 копеек.

Второй случай таков.

Из Москвы в Петербург Зою везли поездом в отдельном вагоне. Сопровождали ее два конвойных, один из которых сразу обратил на себя ее внимание какой-то особенной вежливостью, деликатностью. Это был молодой солдат, звали его Кирилл.

Ночью старший конвойный усатый уснул. Кирилл стал ей рассказывать о себе, что ему только год осталось служить, что он мечтает вернуться домой, на землю...

На вторую ночь усач опять завалился спать. У Кирилла был какой-то странный вид. Вдруг он сказал Зое:

– Вот я сейчас лягу спать. А у меня ключ от вагона, вот он.

– Зачем мне ключ? – удивилась Зоя.

– А вот сейчас будет остановка, вы отопрете вагон и уйдете.

– Куда же я уйду? Меня все равно тотчас поймают.

– Вам друзья помогут!

– Нет тут у меня друзей. И жить нелегально, это не жизнь, прятаться, перестать быть собой. И я не смогу жить, если буду знать, что за меня человек пострадал.

– Ничего! – с проясненным решимостью лицом ответил Кирилл, – я в арестантские роты пойду, вот и все!.. А вас ведь в Петропавловку везут, знаю ведь, что в Петропавловку. Там трудно!

Петропавловка. Обыск. Арестантский халат. Затем повели круглым коридором, с одной стороны его – окна, с другой на стене – большие черные кресты. Солдаты в мягкой войлочной обуви, чухонцы. Все говорят очень тихо.

Остановились у черного креста, и вдруг часть стены вокруг него поддалась. Это оказалась дверь в камеру. В камере – железная койка, прикованная спинкой к стене, а ножки ее – к полу, рядом с ней – металлическая пластинка-стол, а около двери – умывальник с краном. Камера слабо освещена через небольшое окно в решетке. На столе – Евангелие.

Все вышли, и Зоя погрузилась в тишину...

Даже когда обслуживающие заходили в камеру, тишина эта почти не нарушалась. Они никогда не заходили по одному, а всегда все вместе – несколько человек, и не отвечали на вопросы, так что Зоя привыкла не задавать таковых. Единственным событием ее жизни были допросы.

Зоя описывает их так:

«Тот же прокурор, который допрашивал меня в Одессе, разложил передо мной фотографии и стал

расспрашивать: знаю ли я эти лица. Затем вынул из портфеля бумагу и стал читать отрывки:

– Летом такого-то числа я пришел к Зое Григорьевне, где встретил В. Фигнер, которую мне надо было видеть... Летом приблизительно такого-то числа Т. привел меня к Зое Григорьевне, чтобы познакомиться с нею и рекомендовать ее как вполне надежного человека»...

Но Зоя отрицает все: знакомство с Ашенбреннером, с Талапиндовым, с Ювачевым, с Верой Фигнер. Особенно генерал-майор Середа настаивает на последнем.

После предъявления ей показаний Талапиндова Зоя, однако, вынуждена признать:

«Единственный раз у меня в Николаеве останавливалась девушка лет 23–24, брюнетка, небольшого роста, хорошенькая. Назвалась Лизаветой Петровной Кольцовой. Кольцову я до сих пор мало знала, встречалась с нею раза два в Одессе. Кто она такая, чем занимается, для чего остановилась – не знаю... Говорила, что проездом. Почему Елизавета Петровна, мало меня зная, решила остановиться у меня – не знаю. Обедала отдельно, хотя я ей предлагала за общий стол, но она стеснялась... За Елизаветой Петровной приезжал какой-то офицер и увел ее с собой. Почему Елизавета Петровна знала этого офицера – я не спрашивала... Из офицеров знала Кирьякова и еще одного, которого мне представил Кирьяков. Допускаю, что это был Талапиндов. Этого последнего я очень мало знала... Из морских офицеров знала Скаловского, которого встречала у Максимовых... Ни

Скаловскому, ни Талапиндову никаких запрещенных изданий не давала. Талапиндова в последние годы я нигде не встречала. Ашенбреннера не знаю и о нем ничего не слышала. Из других лиц я была знакома с Николаева с Голиковым и Завадовским, с которыми поддерживала знакомство в Петербурге»⁴¹.

Показания Зои удивительно сдержанны и дают пример большой осмотрительности и самообладания. Каждый раз с предъявлением ей новой улики она отступает ровно настолько, насколько ее потеснили, и ни на миллиметр далее.

Но вот уже знакомство с Верой Фигнер нельзя отрицать. Дворник Андриан Лобанов показал:

«Женщина, карточка коей мне предъявляется и которую вы называете Верой Филипповой, бывала у Зои Ге в прошлом году несколько раз. Женщина эта среднего роста, худенькая и черненькая. Лицо ее и фигуру я почему-то запомнил довольно хорошо. Для чего эта барыня посещала Зою Ге, не знаю»⁴².

И Зое предъявляют портрет Веры Николаевны. Она нехотя признает:

«В предъявленном мне кабинетном портрете женщины, которую вы называете Верой Фигнер, я нахожу небольшое сходство с Елизаветой Петровной Кольцовой или Колосовой...

Но... Ювачева не знаю. Но... Ашенбреннера не знаю...»⁴³

⁴¹ Судебно-следственные материалы процесса 14-ти по делу о народофильской организации.

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

Наконец допросы закончились и Зою перестали вызывать. Полумрак и тишина целиком сомкнулись над ней... На столе лежало Евангелие.

«Надо сказать, что я никогда не читала Евангелия, – пишет Зоя, – и понятие о нем у меня было, как о чем-то ненужном и неинтересном»⁴⁴.

Молодежь тех лет шла в революционную борьбу от осенявшего ее сознания вопиющей несправедливости жизни. Так вошла в эту борьбу и Вера Фигнер, и, познакомившись с Зоей, она, вероятно, в ней узнала самое себя – прошлую.

Зоя приехала в Россию из Франции, где, повторяя слова Репина, «вся страна представляла полную свободу веселья молодой жизни просвещенного народа», и то, что она увидела на родине, потрясло ее, как и рассказы тех офицеров, которые вернулись с фронтов русско-турецкой войны. Рассказы этих офицеров об обворованных, разутых, раздетых, умирающих безо всякой помощи солдатах; темный, суеверный, нищий народ, который она видела своими глазами... Этот народ, о котором говорила ей Вера Николаевна, к которому сама Вера Николаевна некогда пошла как фельдшерица, чтобы помогать страдающим, но очень скоро наткнулась на упорное сопротивление всех мало-мальски власть имущих, и помощь ее оказалась парализованной. И тогда она поняла, что без политического освобождения общества никакая помощь невозможна... Вот линия мысли, которую Зоя подхватила из жизни своего старшего друга...

⁴⁴ Зоя Ге. Воспоминания. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

Но друзья ее оказались разбиты, их начинания обрушились, их пути были обрезаны. Пути эти оказались невозможными. И не потому ли они оказались невозможными, что были неверными, неправильными? Так неужели нет вообще путей к Добру и Справедливости, к помощи всей массе обездоленных? Неужели, неужели все обрушилось непоправимо?

Примерно такие мысли одолевали Зою в страшной могильной тишине ее тюрьмы, когда единственной книгой для чтения, единственной отдушиной в ее отрезанной от мира жизни оказалось Евангелие.

В своих воспоминаниях Зоя описывает знакомство с Евангелием как откровение. Но не будем ей целиком верить. Безусловно ее нельзя заподозрить в неискренности, но воспоминания написаны уже в 1899 году, через шестнадцать лет после рассказанных здесь событий, написаны тогда, когда страстная пропаганда дяди ее, Николая Николаевича Ге, и друга его, Льва Николаевича Толстого, не могла не оказать на нее своего действия.

Вера

Николай Николаевич Ге – большой художник и человек страстной души был одержим сходными с Толстым идеями еще до того, как произошло их сближение. Оба они как бы параллельно друг другу пришли к одинаковым выводам.

Вот что рассказывает Репин о Николае Николаевиче Ге:

«В конце 70-тых годов материальное положение Ге... сильно пошатнулось, и ему невозможно было существовать в столице... Наконец, купив у тестя имение Плиски⁴⁵ Черниговской губернии, он удалился навсегда из столицы.

...Он удалился на лоно природы, но и там вместо спокойствия нашел сутолоку мелочных интересов, борьбу за существование в самых скудных условиях. Тут увидел он тяжелый труд, оплачиваемый нищенским вознаграждением, условия самые тяжелые.

...В таких условиях находился художник, когда прогремело призывом Савонаролы «В чем моя вера» Л.Толстого.

...Самоотверженная и горячая полная вера в добро круто изменяют Ге до неузнаваемости. Вместо хандры, оскорбленного самолюбия, угнетения и постоянного желания над кем-то возвыситься и доказать кому-то что-то, он вдруг испытывает сладость и счастье простоты и смирения...

Анна Петровна Ге привыкла уже переносить многие странности мужа-артиста. Его увлечение своими идеями она называла временным помешательством... Он находился в таком состоянии, пока не кончал какой-нибудь работы, она считала это принадлежностью природы художника... Но когда с ее мужем произошла эта последняя крутая перемена, когда он превратился в восторженного толстовца с полным отрицанием всех обычных форм жизни – она испугалась

⁴⁵ Название имения дано неверно. Правильно: Хутор Ивановский. Плиски – ближайшая железнодорожная станция.

не на шутку. Его альтруизм, вегетарьянство, отрицание собственности не поддавались никаким ее доводам. Испробовав все средства убеждения и отчаявшись, она переехала к сыну. Но теперь уже ничто не могло поколебать уверовавшего, казалось, он сам искал лишений и испытаний. Он жил полной душевной жизнью и был счастлив»⁴⁶.

Забегая вперед, скажем, что Анна Петровна пробыла у сына недолго. Горячие просьбы Николая Николаевича возымели свое действие: Анна Петровна вернулась, но теперь жизнь в усадьбе шла по двум разным руслам – Анна Петровна жила в прежних привычных ей условиях, Николай Николаевич на другой половине дома жил своей новой жизнью.

«При необыкновенно быстрой впечатлительности и страстной подвижности, – пишет Репин, – у него никогда слово не расходилось с делом. Беззаветно веруя в доктрину, он и беззаветно действовал по ней всегда.

Так, однажды услышав, что племянница его, Зоя Григорьевна Ге, попала в крепость... он отправился в Петербург к власти имущим, как был, в своем убогом костюме, с восторженным лицом умиленного смирения. На влиятельных лиц он произвел самое благое впечатление»⁴⁷.

Вот прошение от 30 марта 1884 года на имя товарища Санкт-Петербургской Судебной палаты от профессора Императорской Академии Художеств Н.Н.Ге:

⁴⁶ Репин И.Е. Далекое близкое. С. 321.

⁴⁷ Там же.

«Руководимый христианскими чувствами сострадания к несчастному, я приехал в Петербург увидеть мою родную племянницу, Зою Григорьевну Ге, содержащуюся в Доме предварительного заключения. Я нашел ее здоровьем очень слабой. Она страдает болью груди и отеками всего тела. Зная ее семейное положение, предшествующее аресту, как самое ненормальное, матери нет, отец имеет другую семью, я убежден, что такое ненормальное ее положение было главной причиной ее несчастий, а потому, как христианин и родной, я решил оказать ей помощь к выходу ее из ложного положения и возврата хотя нравственно на путь добра и истины. С этой целью я покорнейше прошу Ваше Высочородие разрешить мне взять ее хотя временно на поруки... Я могу дать полное обеспечение материальное и ответственность нравственную перед Правительством в том, что у меня она будет вне всякого зловредного влияния...⁴⁸»

Хлопоты увенчались успехом. Имение Николая Николаевича – хутор Ивановский – было уже частично заложено. Свободной оставалась незаложенная часть, оцениваемая в 10 000 рублей; это было все, чем владел в то время Николай Николаевич.

Под залог этой части и выдали ему до суда на поруки Зою.

Но сперва ему удалось добиться перевода ее в Дом предварительного заключения.

⁴⁸ Судебно-следственные материалы процесса 14-ти по делу о народовольческой организации.

Дядя

Николай Николаевич видел Зою только ребенком. И теперь первое знакомство двух еще чуждых друг другу людей не сразу привело к гармонии. Как человек с богато развитым воображением, Николай Николаевич составил себе образ Зои заранее, еще до того, как увидел ее, составил предвзято в разноречивой с действительностью.

Уже в Доме предварительного заключения Зоя получила от Николая Николаевича письмо, которое она приводит в своих воспоминаниях. Кусок сверху был обрезан прокурором, было вырезано и несколько мест в тексте.

«Милая Зоя! – писал Николай Николаевич, – ребенком я тебя видел и знал, но не думал я, что тебя постигнет то несчастье, которое случилось. Я знаю, что не избалована ты искренней любовью, я хочу сказать тебе слова любви и правды. Самое большое несчастье – заблуждение, в нем нет ни любви, ни добра, оно только и дает ожесточение. Умоляю тебя постигшее тебя несчастье принять как указание свыше твоего заблуждения. Обратись к правде. В Религии, в Науке, в Искусстве человек безгранично свободен – в житейских делах, каковы бы они ни были, наше дело – повиноваться и исполнять по совести то, что законная власть от нас требует. На то она и Власть, судить ее мы, частные люди, не призваны... (Здесь вырезан фрагмент. – *Авт.*) ...где ты можешь действовать, сколько можешь внести любви и добра – а в этом мире сложных общественных явлений ты поте-

ряешься, себя загубишь, а главное, загубишь свою душу ожесточением. Послушай старика – у меня тоже дети, я пожил и многое познал, что ты по молодости и по невежеству и не подозреваешь.

Не ради каких интересов тебе пишу – одна чистая христианская любовь к тебе. Да благословит тебя бог и укажет тебе выход из заблуждения и наградит тебя, еще молодую, жизнью полной любви и правды.

Любящий тебя дядя, Николай Ге.

Если хочешь ответить, вот адрес: Ст. Плиски Курско-Киевской железной дороги».

Приведя письмо, Зоя пишет:

«Не согрело меня это письмо и даже больше стало как-то неуютно. Почему он думает, что меня искренне не любили? Наоборот, я была очень избалована любовью и покойной матери, и отца, и сестер, и друзей, и даже во время этого гонения встретила людей, искренне и тепло относящихся ко мне...»

Смутно у меня стало на душе, как будто какая-то холодная рука забралась в мою душу, сейчас оторвет от мира, опошляя дорогое для меня и единственное, что осталось мне от прошлого...»

Зоя принадлежала к тем людям, которые невольно с самой юности вызывают к себе уважение, и, уже привыкшую к этому уважению – никто из близких, ни отец, ни сестры, ни друзья ее никогда не брались указывать ей что-либо – ее покоробил этот предвзятый суд над нею, эти наставления, в которых дорогой ей мир рассматривался как сплошное заблуждение, а характер – как заблудший и падший... Если и произвело на нее в одиночке Петропавловской крепости

сильное впечатление Евангелие, то она никак не противопоставляла того, что сказало оно ей, тому, что делала и искала она в недавнем своем прошлом. «Жить иначе, чем я жила, я не могла, – пишет она в своих воспоминаниях, – и если моя жизнь привела к тому, что я должна была претерпеть, то что претерпела – что же делать? Иначе не могло быть...»

«Повременила с ответом, – пишет она далее, – ответила, что благодарю дядю, что он вспомнил меня, и прибавила, что не знаю, что со мной будет дальше, но в одном уверена, что душа моя не погибнет вовек...

...Вскоре дядя приехал в Петербург и пришел на свидание. Он был очень приветлив и сказал, что хлопчет, чтобы ему отдали меня на поруки. Долго ему не удавалось это – все отказывали...»

Но жизнь Зои в Доме предварительного заключения была несравненно легче, чем в одиночке Петропавловки. Здесь уже было общение с людьми. За стеной у Зои оказалась соседка – Соня, с которой они стали перестукиваться и даже пытаться рассмешить друг друга. Смех означал у них шуршание рукой по стене – естественное движение. «Если расхохочешься, рука сама ползет в таком движении», – пишет Зоя.

Соня знала, что дядя берет Зою на поруки, радовалась за нее, но и грустила перед разлукой...

Не ждали

Подходила Пасха, была страстная суббота. Вдруг Соня застучала в стену: «Я вижу во дворе карету, она долго стоит, это приехали за тобой!»

Зоя привалилась всем телом к стене, прощаясь с Соней.

«Меня повели вниз, – пишет Зоя, – в контору, где я встретила дядю Николая Николаевича. Он наскоро поздоровался... Очень торопился. Мы сели в карету и поехали».

Страстный проповедник и блестящий оратор, Николай Николаевич не понимал, в каком состоянии находится Зоя. Увлеченному своими идеями, ему хотелось скорее, полнее обратить ее в свою веру.

«Он был очень возбужден, – продолжала Зоя, – и все мне что-то громко говорил. Но я ничего не могла разобрать. Душа была подавлена сложностью переживаний, мне хотелось остаться одной со своими мыслями.

По панели шел какой-то солдат, дядя указал на него пальцем и сказал: «Ты думаешь, вот они виноваты» – и опять говорил и говорил, и я опять ничего не разбирала.

Мы заехали к О.М. и оттуда на Николаевский вокзал. Там меня ожидали сестра с мужем.

Дядя все волновался. Когда тронулся поезд и мы поехали, он опять стал громко у самого моего лица что-то говорить, но я опять толком ничего не понимала. Утром мы приехали в Москву к его сыну П.Ге, где вечером я в первый раз увидела Льва Николаевича Толстого, о котором до того не имела другого понятия, как об авторе известных беллетристических произведений.

С Соней я так и не виделась никогда. Она умерла по дороге в Восточную Сибирь».

На этом заканчиваются воспоминания Зои Григорьевны Ге.

Но кто такой О.М.? Почему они зашли туда? Зиновий Иванович Крапивин высказал предположение, что в Петербурге Николай Николаевич приходил с Зоей к Репину. И что внезапное появление только что освобожденной Зои подтолкнуло Репина к его идее картины «Не ждали», когда первоначально он думал изобразить женщину или молодую девушку, неожиданно вернувшуюся из тюрьмы домой...

В Москве Николай Николаевич хотел пойти с Зоей к Льву Николаевичу Толстому, но Зоя отказалась. После полугода в тюрьме ей трудно было видеться с людьми, ей все время хотелось тишины и одиночества. Тогда вечером в день их приезда Лев Николаевич сам пришел к Ге, чтобы повидать счастливого удачными хлопотами Николая Николаевича и Зою, которая его очень интересовала, как человек только что вышедший из тюрьмы. Знакомство состоялось и заложило основание дружбы, которая потом прошла через многие годы жизни Зои Григорьевны Ге.

Тогда же Лев Николаевич попросил ее написать свои воспоминания. Но впечатления были еще слишком свежи. Только в 1899 году, после повторной просьбы Льва Николаевича, который писал тогда «Воскресение», она выполнила его просьбу.

Времена

Чужие руки

Что представлял собой тогда хутор Ивановский? Около трехсот десятин земли – пригодной и непригодной, частично сдаваемой в аренду. Одноэтажный длинный деревянный дом, обложенный красным кирпичом, в тени больших ветвистых деревьев. Деревья эти мы видим на зарисовках Григория Николаевича Ге могил его брата и его жены. И еще мы видим тополиную аллею сада, просвечивающую солнцем в окне, против которого стоит на портрете Ге молодая Н.И.Петрункевич с книгой в руке⁴⁹.

Николай Николаевич работает по хозяйству. Хозяйственные дела отрывают его от живописи. Он помогает крестьянам.

Репин пишет: «Самые суровые лица окружающей его среды менялись... при виде барина, то копающего мужику навоз, то складывающего ему печи и в то же время искренне и серьезно поучающего таким благим вещам, каких не слышал еще мужик от господ, всегда норовившим сесть мужику на шею»⁵⁰.

Горячая дружба с Львом Николаевичем Толстым... Николай Николаевич нервничал и торопился

⁴⁹ Ни дома, ни сада не сохранилось.

⁵⁰ Репин И.Е. Далекое близкое. С. 321.

скорее увезти Зою на хутор. Ему выдали ее на поруки, но это было только до суда⁵¹. Суд еще не состоялся, дознание в деталях еще шло. Могли всплыть, выясниться новые обстоятельства, которые вырвали бы у него спасенную. А тогда ей в лучшем случае грозила высылка в Восточную Сибирь.

Николай Николаевич чувствовал себя ее единственным защитником и говорил, что если ее вышлют, то он пойдет за нею и в Сибирь. В этой нервной обстановке он мечтал об одном: закрепить Зою, бросить якорь ее судьбы так, чтобы ничто его уже не оторвало. И еще, конечно, спасти ее от несправедного пути насилия.

Идея скоропалительного замужества, как идея такого двойного спасения души и тела, пришла ему, вероятно, в голову, когда у себя дома на хуторе он заметил, какое впечатление Зоя произвела на его молодого друга-толстовца фельдшера Григория Семеновича Рубан-Шуровского.

Весна, все бурно оживает, кукуют кукушки, по ночам поют соловьи. Окунуться в эту прекрасную простую жизнь единения с природой и людьми после каменных казематов мрачной тюрьмы для Зои – чудо. И внезапное, неожиданное, пусть даже временное спасение ее. Каждая клетка ее молодого тела бурно радуется возвращенной ей жизни и свободе, и этой жгучей физической радости молодости и здоровья ничем не укротить... Зоя уже отошла от тюрьмы. Па-

⁵¹ Тогда не было известно, что суда не будет.

ралич ее первых встреч с людьми, ее желание забиться в какую-нибудь нору и молчать, ее невозможность понять горячую речь дяди, ее душевная глухота к врывающейся к ней жизни – все это миновало. Она выздоравливает как после тяжелой болезни. Все размягчено, все умильно в ее душе в горячей благодарности к дяде. Евангелие, прочитанное в тюрьме, слова дяди, которые теперь уже доходят до нее, и, наконец, книга Толстого «В чем моя вера»... Она не может не поддаться, она начинает видеть мир их глазами, глазами этих двух титанов, скрестивших на ней свои могучие влияния...

И странное сознание своей невольной вины за свободу и счастье выздоровления, своей виноватости перед арестованными друзьями. Все в тюрьмах и крепостях, старший друг ее – Вера Фигнер, военные и моряки – все до единого; ближайшие друзья ее – Завадовский, Степанов. Кто ждет суда в Петербурге, кто – в Киевской тюрьме. Она одна на свободе, она одна может радоваться жизни, и перед ними ей как-то не по себе... Искупить свою невольную вину она может только одним-единственным – следуя тем путем любви ко всем людям и деланья для них добра, который ей указывают новые друзья...

Теперь можно, кажется, понять, как сильная независимая Зоя в этот период своей жизни отдает право творить свою жизнь другим рукам. За нее это делает дядя Николай Николаевич.

Восемнадцатого августа 1884 года он пишет своей невестке Екатерине Ивановне о молодой девушке с добрым сердцем, которая ждет каждую минуту, что

ее отошлют Бог знает в какую даль, и о том, что он готов был идти и защищать ее. Но Бог послал ей защитника, такого же прекрасного и любящего, как и она. Ее горе зажгло в нем сердце высокой Божьей любовью, и вот они счастливы так, как не видел он, Николай Николаевич, за всю свою жизнь⁵².

Так делает Николай Николаевич за Зою ее счастье, и он самозабвенно уверен, что, действительно, даровал ей его, и в этом убежден не только он, но и сама Зоя, и отголосок этого мы встречаем даже у Репина, который пишет, что Зоя избрала «самую трудную и бедную жизнь и, говорят, счастлива»⁵³.

Письмо невестке написано в августе. На хуторе еще не знали, что уже в июле министр юстиции вошел в соглашение с Департаментом полиции, чтобы предложить выделить судомпроизводством 14 человек из 142, привлеченных по делу военной организации, а остальных осудить административным порядком, в том числе и Зою.

Для Зои предлагалось, и это безусловно благодаря страстному заступничеству члена Академии художеств Николая Николаевича Ге, заменить ей высылку в Сибирь на жительство в выбранном ею месте, а точнее на хуторе Ивановском на три года под гласным надзором полиции.

Четвертого ноября в другом письме к той же Екатерине Ивановне Николай Николаевич описывает идиллию их жизни на хуторе и заканчивает, что Ко-

⁵² Письма к Е.И.Забелла // ЦГАЛИ. Ф.731. Оп.1. Ед.хр.З. Л.13–23.

⁵³ Репин И.Е. Далекое близкое. С. 321.

ля⁵⁴, Зоя и Парася⁵⁵ посылают свои поклоны, а неведомый еще Екатерине Ивановне Григорий Семенович играет превосходно около Николая Николаевича на гитаре.

Когда произошло бракосочетание – точно неизвестно. Но уже в июле 1885 года родился первый сын Зои – Андрей. Значит, произошло оно не позже, а по всей вероятности даже раньше сентября 1884 года, того сентября, когда состоялся Процесс 14-ти. Таким образом мечта Николая Николаевича сбылась: Зоя оказалась закрепленной прочно. Ее, замужнюю и беременную, жандармская рука уже не выхватила, однако придирчивое наблюдение продолжалось.

А той же осенью 1884 года на хутор Ивановский приезжал Лев Толстой.

Отрешение Рубана-Шуровского

Как складывалась жизнь Зои и Рубана? Вначале в полной гармонии с окружающим. Это был период полного и искреннего толстовства.

В то время их навестила старшая сестра Зои – певица и актриса Мария Гай.

Крестьянская глиняная мазанка, в которой жили Зоя и Рубан, по рассказам Марии⁵⁶, была совершенно пуста, как говорится, «шаром покати». Ничем не прикрытые лавки, стол, детская люлька, грубая крестьян-

⁵⁴ Николай Николаевич Ге – младший сын художника.

⁵⁵ Дочь Николая Николаевича младшего.

⁵⁶ Запись рассказа О.С.Кузнецовой.

ская посуда, глинобитный пол, который Зоя подмазывала мокрой глиной, набрасывая на него затем душистый аир. Знойным сухим солнечным украинским летом это было бы даже неплохо, если бы не та бедность, которая поразила Марию. Белья не было, Марию положили спать на стол, сами легли на лавках. Было жестко, кусали комары, маленький Андрей плакал, Зоя вскакивала его успокаивать. Ни занавесок на окнах, ни одеял.

Рано утром первые лучи солнца разбудили Марию. Все уже были на ногах – ждала работа. Завтракали сухим хлебом с «цыбулей» (луком), запивали колодезной водой.

У Рубанов до того была корова и даже лошадь, но все это они отдали многодетной крестьянке-вдове, теперь сами перебивались кое-как.

В огорчении от увиденного, пронзенная жалостью и состраданием к сестре, Мария, тотчас после отъезда поспешила раздобыть денег и выслать Зое. Но она получила полный горечи ответ Зои, смысл которого был: «Зачем, что ты! нам не нужны деньги! Ты нас не поняла!»

Так начали они свою жизнь. Они крестьянствовали. Николай Николаевич младший выделил им немного земли (четверть десятины), Григорий Семенович кроме того тачал сапоги. Зоя помогала иной раз местному врачу, и, когда ему случалось уезжать куда-либо, он оставлял на нее своих больных. А зимой Зоя учила крестьянских детей грамоте.

Вскоре родилась дочь – Надя, а затем еще сын – Севастьян. Теперь было уже трое детей...

Но вернемся еще раз к первому приезду Марии к Зое. Тогда, кроме удручившей ее бедности, Мария подметила еще терпимо-отрешенное отношение Зои к философским увлечениям мужа.

Утром все торопились с завтраком – Зоя и Рубан должны были до жары поспеть в поле работать, Мария вызвалась присмотреть за маленьким Андреем. Но внезапно пришел Николай Николаевич, которого осенила какая-то новая идея. Он весь светился ею и тотчас увлек в страстный разговор Рубана, который забыл про работу, про поле, про всё... Зоя тихонько сказала Марии, махнув рукой:

– Ну, теперь это надолго! – и ушла в поле одна...

Сорвать печать!

В конце восьмидесятых годов в творчестве Ге наблюдается необыкновенный подъем. После попыток отказаться от живописи вообще и перейти только на иллюстрирование в рисунках углем «Обновленного Евангелия» Толстого, он словно дорвался наконец опять до подлинного искусства.

«Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефсиманский сад» – после девятилетнего перерыва первая его картина, появившаяся на передвижной выставке в 1889 году. Затем в 1890 году «Что есть истина», в 1892 году «Суд Синедриона», и, наконец, в 1894 году последний вариант «Распятия». Над этой картиной Ге работал десять лет, девятнадцать раз переделывал ее, отсекая ненужное, отыскивая наиболее впечатляющее, наиболее выразительное.

Всю свою жизнь Николай Николаевич Ге преклонялся перед своей женой Анной Петровной и боготворил ее. И смерть ее в 1891 году явилась для него тяжелой трагедией. Он не отходит от нее, он всматривается в ее лицо с надеждой и мукой по мере того, как надежда эта слабеет и гаснет. Дорогое лицо это, лицо умирающей, врезалось в его память, оно стоит перед его глазами, ему никогда не забыть его. Это – внутренне, это – в душе. А внешне – невольно профессиональным взглядом художника он отмечает, запоминает рисунок страдания и муки... И он пишет последние варианты своего «Распятия», воплощая эти штрихи.

Это – страшная нагая картина. Ге не боится натуралистических деталей. Он хочет, чтобы видели не картину, а реальную муку человека, у которого отнимают жизнь. «В первый раз увидели, что распятие – казнь, и ужасная казнь», – пишет Толстой.

И далее:

«...С нынешним царствованием смертная казнь получила у нас право гражданства и без всякого суда, то есть с подобием его. Об ужасах, вершимых над политическими, и говорить нечего. Тысячи людей подвергают страшным мучениям одного заключенного, каторге, смерти... И все это скрыто ото всех, кроме участников этих жестокостей»⁵⁷.

Сорвать печать! Прорвать молчание! Показать явно, обнаженно, ярко – вот в чем задача Ге.

⁵⁷ Письмо Л.Н.Толстого Д.Кеннану от 8 августа 1890 г. // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т. М.; Л., 1928–1964. Т.65. С.139–141.



*Николай Николаевич Ге (1831–1894).
Фотография начала 1890-х годов*

Григорий Николаевич посетил хутор Ивановский незадолго перед смертью Николая Николаевича. «Распятие» было не кончено, но картина была уже ясна. Григорий Николаевич рассказывает об этом посещении в своих воспоминаниях, говоря о себе в третьем лице:

«Брат Николая Николаевича провел несколько дней в прениях по вопросу внутреннего содержания готовящейся картины. Он настаивал... что воспроизведение страданий физически истязуемого не может быть предметом изящного искусства. Николай Николаевич не опровергая этого основного положения, все-таки возражал на сто ладов. Он заявлял, что у него искусство не для искусства, что ему нет дела ни до каких “рамок”, что он служит правде во имя нравственных интересов общества.

Он напирал на то, что довольно уже умиляться содержанием распятия. “Я сотрясу их мозги страданием Христа”, гремел он, впадая в экстаз. “Я заставлю их рыдать, а не умиляться! Возвратясь с выставки, они надолго забудут о своих глупых интересах!”⁵⁸

«“Распятие” Ге меня поразило, – пишет Репин, – ...передо мной вдруг открыл страшную трагедию современный художник с поразительной резкостью и правдой...»⁵⁹

«Распятие», или «Христос и разбойник», было выставлено на 22-й передвижной выставке в начале 1894 года. Но здесь мы дадим слово Надежде Константиновне Крупской:

⁵⁸ Воспоминания Г.Н.Ге. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

⁵⁹ Репин И.Е. Далекое близкое. С. 327.

«На передвижной выставке, – пишет она, – была выставлена картина Н.Ге “Христос и разбойник”. Когда царская фамилия посетила выставку, возмущенный царь велел убрать с выставки “эту бойню”».

Картину убрали. Она была перевезена на квартиру профессора математики Страннолюбского, жена которого была толстовкой. Картину сначала приходили смотреть знакомые, потом круг все разрастался и разрастался.

На меня картина произвела сильное впечатление. При втором посещении произвела впечатление и сама личность художника Ге. Он был толстовец. Когда он говорил как толстовец, это было скучно, но чаще он говорил как художник. Он рассказывал, как он писал картину, что при этом переживал, что думал, как менялось в ходе его работы его представление об искусстве, рассказывал, как им владела творимая им картина, и как в минуты смерти любимой жены он, вглядываясь в ее угасавшее лицо, старался уловить тень смерти, чтобы отобразить ее в своей картине...

Мне захотелось, чтобы ученики сходили посмотреть картину Н.Ге. Собралось человек десять учеников из наиболее развитых, Фунтиков⁶⁰ пришел тоже. Картина произвела на рабочих впечатление. Тут и Н.Ге был.

⁶⁰ Речь идет об учениках вечерних так называемых смоленских классов, где преподавала Н.К.Крупская. Фунтиков – рабочий, один из учеников этих классов, излюбленной темой которого была тема о капиталистах и рабочих. Даже в рассказе о «Рыбаке и рыбке» он уподоблял рабочего рыбке, которую капиталист-рыбак улавливает в свои сети.

Стал Фунтиков говорить о картине, и опять какими-то судьбами всплыли на сцену капиталисты и рабочие, рабочее движение, социализм. Внешне это было нелепо, но внутренне логически осмысленно. И то, что хотел сказать Фунтиков, поняли и его товарищи, сочувственно поддакивающие ему. У Н.Ге заблистали слезы на глазах, он взволнованно обнял Фунтикова, говорил, что он именно это-то и хотел сказать картиной.

Ученикам он подарил снимки и надписал на каждом «От любящего Ге»...

Потом Ге говорил, что он хотел бы, чтобы его картина стала народным достоянием и была выставлена в какой-нибудь галерее, которая будет посещаться массами...»⁶¹

Младший

Мастерская Николая Николаевича Ге. «Распятие» еще в работе. Ге посещают Третьяков, Мясоедов, Екатерина Юнге, ученики киевской рисовальной школы Мурашко, там проводит время очарованный Григорий Семшович Рубан и сын Николая Николаевича – Николай Николаевич младший.

Вот что рассказывает Репин о времени юности Николая Николаевича младшего:

«Отец показал мне портрет, который нарисовал Николай с брата своего. Превосходный смелый ри-

⁶¹ Крупская Н.К. Пять лет работы в вечерних смоленских классах // Крупская Н.К. Избранные педагогические произведения. М., 1957. С. 29–30.

сунок, широко и бойко схвачено сходство. Несмотря на натуральную величину, рисунок был исполнен вполне художественно. Он близко подходил к стилю отца.

– Да ведь это превосходно! – воскликнул я, – у него большой талант. Неужели он не намерен специально продолжать заниматься искусством? Разве вы его не учите?

Ге помолчал, не без иронии глядя на меня:

– Ах, юноша... впрочем, теперь уже и вы не юноша... Разве искусству можно учить?»⁶²

Николай Николаевич младший учился на юридическом факультете Киевского университета. В университете он был близок к народникам.

На хуторе отца летом он сошелся со скотницей Гапкой, которая затем родила от него дочь Парасю, а сам он уже к тому времени увлекся интеллигентной женщиной.

Под влиянием отца и толстовского учения он страстно осудил себя... На портрете, написанном его отцом в 1884 году, мы видим его молодым, худощавым, с лицом продолговатым, заостренным, слегка опущенным молодой бородкой, с высоким открытым лбом, с тревожной складкой раздумья между бровями, с черточками отечности под глазами, как после бессонной ночи. Глаза смотрят серьезно, пристально, пылливо, страстно, отыскивая какое-то нелегкое решение. Таким увидел его отец в те годы.

⁶² Репин И.Е. Далекое близкое. С. 315–316.

Как раз тогда он кончил курс юридического факультета, оставалась дипломная работа. И он пишет ее во внезапном озарении, единым духом, назвав ее «Бесправие уголовного права». В ней он бичует закон, в духе Толстого отрицает то самое право, служению которому должен был посвятить свою деятельность.

Своему брату Петруше он написал в Москву, что отказывается от службы обществу, живущему за чужой счет, и едет в деревню, чтобы жить своим трудом.

Тридцатого апреля 1884 года письмо его принесли Толстому. «Это счастье большое для меня», – отзывается Толстой о нем и сообщает Черткову, что Николай Николаевич младший «человек совершенно такой же веры, как мы, и человек верующий, то есть ИСПОЛНЯЮЩИЙ».

Николай Николаевич младший видится с Толстым, происходит долгий разговор.

С этих дней иначе чем «Колечка» и «Колечка милый» Лев Николаевич его называть не будет и до самого конца своей жизни будет любить его, как своего духовного сына. Николай Николаевич старший даже передаст однажды Толстому, что Колечку считают Иоанном подле Льва Николаевича⁶³. Это уже в 1886 году, когда Колечка живет у Толстых.

Отметим здесь дату письма Петруше: 30 апреля 1884 года. То есть как раз тогда, когда Николай Николаевич старший освободил Зою. Случайно ли та-

⁶³ Иоанн – самый близкий ко Христу и самый молодой из его апостолов.

кое совпадение? Вероятно, нет: спасение племянницы отцом произвело на младшего Ге огромное впечатление...

И весной 1884 года, той же весной, что и Зоя, он тоже приехал на хутор, чтобы остаться там навсегда и жить простой жизнью. И опрощение его, и женитьба его на Агафье, вероятно, оказали свое влияние на Зою, которая, также желая следовать путем добра, вышла замуж за Рубана. Но Агафья оказалась душевнобольной и попала в больницу, и тогда Николай Николаевич младший надолго уезжает с хутора, подрабатывает чем может, затем, как уже было сказано выше, в 1886 году живет у Толстых.

Он возвращается после выздоровления Агафьи и начинает крестьянствовать. В последующие годы у них родилось два сына – Ваня и Коля.

О младшем Ге этого периода рассказывает С.Громан, в то время восемнадцатилетний гимназист, который, следуя учению Толстого, отправился в лаптях пешком по России изучать народ, чтобы служить ему:

«...Когда старый Ге после продолжительных разговоров со мной уже вечером познакомил меня с ним, молодой Ге, вернувшись с полевой работы в мужицких шароварах и рубахе из грубого холста, сидел на террасе своего домика верхом на скамье и правил косу.

Голова породистая, красивая, обожженная солнцем, короткие светло-русые волосы и такая же бородка, загорелое до смуглоты мужественное энергичное лицо. Широко откинутый ворот обнажал креп-

кую бронзовую грудь. Такие же руки, мускулистые, сильные, до локтя голые – одна крепко держала ко-силу, другая отбивала молотком косу.

Старший Ге обо мне говорил с некоторой восторженностью, я говорил с энтузиазмом. Слушая нас, молодой Ге, продолжая работу, поглядывал на меня слегка смеющимися глазами, и его губы под молодыми усами иногда точно кривились. К моему энтузиазму и восторженности отца он... относился с некоторой иронией».

И далее:

«Он был суховат, суров и даже, как мне казалось, озлоблен. Чем? Этого я не мог раскусить. Мне казалось, что само сидение на земле – обработка ее своими руками – для него бремя, вериги, которые надели на него идеи и желание разрушить преграду между ним и народом, и это бремя тяготило его. Он не был доволен своей жизнью и раздражался...»⁶⁴

А вот что пишет 3 декабря 1892 года после обсуждения книги Г.Карлейля «Герои и героическое в истории» Григорий Семенович Рубан Льву Николаевичу Толстому:

«Дорогой Лев Николаевич!

С большим волнением пишу Вам это письмо. Сегодня я спорил с NN⁶⁵ и очень возмутился. Спор этот уже не первый, хотя предмет один и тот же... Главным предметом была заповедь о непротивлении злу насилием... Я не мог признать революцию делом христианским хотя бы для времени, когда она разрази-

⁶⁴ Запись в архиве О.С.Кузнецовой.

⁶⁵ Николай Николаевич младший.

лась. Я очень жалею и люблю тех людей, которые пожертвовали собой за угнетенных братьев, но признать этот ужасный способ, эту кровавую борьбу за исполнение воли Божьей я не могу. Попытки уничтожить зло насилием несколько не убеждают меня, что революция и всякий подобный способ действительно уничтожают зло. Если я верю и знаю, что распявшие Христа не уничтожили его духа, то почему я должен верить тому, что казнившие деспота уничтожили дух деспотизма? Правда, от этого деспотизм изменяется: то есть получает, как я думаю, более тонкую и хитрую форму и переходит во многих других, тех, кто участвовал в совершении над ним казни; но от этого ни угнетенные, ни сами борющиеся за свободу, правду и любовь ничего не выигрывают. Напротив, от этого к прежней тьме прибавляется еще смрад погашенных светильников... Я возмущаюсь, говорят мне, потому что во мне сидит тот же поп... Я не похож на попов, которые вот именно так хлопочут о тайне и таинствах, потому что зло только и совершается в области тайн».

Молчание

Философские разговоры происходили непрерывно. Как магнитом тянуло Григория Семеновича Рубана к Николаю Николаевичу в его мастерскую. Он присутствовал при творчестве художника. Интенсивная духовная жизнь вокруг Николая Николаевича Ге и его идей, захватившая Рубана, оставила, однако, за бортом Зою.

Мы нигде не замечаем никаких следов того, что она посещала мастерскую и принимала участие в беседах и спорах. Но почему? Разве ей не хватало для этого ума? Интереса? Развития?

Вот эта девушка, Зоя, с таким вдумчивым, пытливым, чуть, быть может, насмешливым взглядом затененных глаз, которая смотрит на нас с фотографий начала семейного альбома, эта Зоя, которая сконцентрировала вокруг себя живые души молодежи Николаева и сама была самой живой душой из них, ведущей их за собой; думающая, читающая, пытающаяся понять свою и чужую жизни и найти в ней правильные пути, разве не могла бы и она бросить и свое мнение в водоворот споров, в эти поиски, в эту борьбу мыслей?

Почему же мы ее не слышим? Что с ней сделалось? Или материнство так переменяло ее, что она, как Наташа Ростова, перестала видеть мир вне его?

Перестала, да. Но не по своей воле. Перестала потому, что не могла, не хватало ни времени, ни сил физических. Посадить огород, вырастить его, прополоть, вычистить хлев, подоить корову, которая уже была, выгнать ее на пастбище, затопить печь, засунуть в нее казаны и горшки с постным борщом или картошкой (Рубан не ел даже яиц), вымесить и испечь хлеб, перестирать все, не спуская при том глаз с трех маленьких босоногих детей, из которых младший еще только ползал, а во время болезней их – разрываться между хозяйством и ими, и еще находить силы помогать врачу лечить его больных, а зимой – учить крестьянских детей грамоте и счету. Где, как,

когда могла она выкроить время еще и на интеллектуальную жизнь?

Когда подходил вечер и наконец стихала дневная сутолока, Зоя могла только – замертво повалиться спать, даже не чувствуя гула усталых ног, но чутко просыпаясь при каждом движении маленького Севастьяна.

Еще недавно высоко парила духом, теперь для нее всякая духовная жизнь – недопустимая роскошь. Она рано, быстро, катастрофически стареет.

Ей нет еще и тридцати.

Но на фотографии той поры уже видны ранние морщины, лицо словно высохло под ветром, морозом или палящим зноем, а о руках ее мы можем только догадываться, об этих огрубевших, растрескавшихся, жестких с напряженными венами руках... и как ни сильна была ее воля, она иногда не выдерживала. Одно из первых впечатлений дочери ее Нади – тогда пятилетнего ребенка – такое:

«Мама сидела на скамье и горько плакала, прерывающимся слезами шепотом она говорила: “О, господи! Отчего же все это я должна делать сама и мучиться?”»⁶⁶

Полвека спустя перед самой смертью она признается Наде:

«Я вам никогда раньше не говорила о том, что происходило в нашей семье в последние годы нашего пребывания на хуторе у Николая Николаевича. Для меня это было мучительно. Отец твой, Григо-

⁶⁶ Воспоминания С.Г.Рубана. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

рий Семенович, хотя мягкий и добрый, но был какой-то фанатик и совершенно не считался с трудностями семьи. Он мог отдать проходящему все, что у нас было на столе, не думая о том, что мне накормить детей было нечем. Он уходил к Николаю Николаевичу в мастерскую, позировал для его картин, философствовал и беседовал с ним, а все хозяйство и заботу о детях оставлял на меня одну... И лошадь, и корова, и выпечь хлеб, и сварить обед, и постирать, и починить белье... Мне было очень-очень тяжело и обидно...»⁶⁷

Пыталась ли Зоя объяснить, растолковать, показать Григорию Семеновичу, что слово у него расходится с делом, что, взяв себе полеты возвышенной теории, он ей одной предоставил практику этой теории, то есть труд, самый черный и неблагодарный труд, или гордость и сдержанность, свойственная сильному духу Зои положила между ними барьер молчания?

Именно это. Не было ни жалоб, ни попреков, ни просьб, ни ссор. Было все больше замыкающееся молчание... Но гибкая и сильная лоза, пригнетаемая и пригибаемая долу, не может долго оставаться согнутой.

Однако прежде, чем Зоя смогла распрямиться, произошло одно трагическое событие.

Пишет Николай Николаевич младший к Татьяне Львовне 24 июня 1894 года:

«Отец приехал из Нежина от Петруши вечером в 12-ом часу. Он постучал в окно. Я вышел его встре-

⁶⁷ Там же.

чать с лампочкой и увидел, что он идет от телеги, на которой приехал, и несет в руках что-то в рогоже⁶⁸. Он был бледен, но шел бодро. Я поставил лампочку и пошел взять его мешок и отдать деньги извозчику. Он прошел коридором в свою комнату, а я шел сзади с вещами и лампой. Он вошел и сел как всегда, бывало, садился к своему столу, на котором без него накопились письма. Я хотел зажечь его лампу, но он остановил меня, сказал, что не надо, что ему дурно. Я обошел стол и помог ему лечь, он стал стонать и задыхаться. Я позвал Зою (заметим – Зоя живет уже в доме Ге), прося принести воды. Я дал ему воды и растворил окно, он ничего не говорил, только смотрел и мучился, стонал. Стали тереть ему руки, ноги, я ему налил воды на голову. Когда открыли окно, лоб стал как будто теплее, а руки все были холодны, ноги были теплые вначале, а потом и они похолодели. Я побежал на конюшню и послал верхового за доктором. Пока я бегал, он крикнул несколько раз, когда я вернулся, он уже не кричал, а стонал и метался и задыхался.

Он ничего не сказал до самого конца. Потом затих и сейчас же умер. До того как я бегал, я надеялся, когда я вернулся, я уже понял, что он умрет. Я жалел, что бегал, он хотел сказать что-то криком, может быть я бы понял...

Я послал Вам картины в Ясную, потому что лучше пусть они будут у Вас теперь. Петруша уедет через месяц в Петербург, а ко мне уже раз приезжал чи-

⁶⁸ Картину «Распятие», привезенную из Петербурга.

новник от губернатора Скворцова, и, хотя я думаю, что ничего не будет, но все же лучше, чтобы картины были в сохранности...»⁶⁹

Все картины Ге, начиная с «Что есть истина», снимались властями с выставок. Николай Николаевич младший боялся, что картины могут конфисковать. Он послал Толстому «Суд Синедриона» и «Распятие» и просил его сберечь их у себя.

«Лев Николаевич говорил мне, что, работая и отдыхая теперь в мастерской, – пишет в своих воспоминаниях Лазурский, – он все больше и больше всматривается в “Распятие” Ге и все больше проникает в мысль художника...»⁷⁰

⁶⁹ Николай Николаевич Ге. М.: Искусство, 1977. С. 200.

⁷⁰ Лазурский В.Ф. Дневник // Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 45.

Один разговор

Бунт

После смерти Николая Николаевича Ге все на хуторе стало быстро распадаться. И то, что назревало давно, так же быстро стало набирать силу. Уже через десять дней после смерти отца младший Ге написал Толстому в ответ на его соболезнования:

«Действительно у меня горе, как Вы пишете, дорогой Лев Николаевич, и горе непоправимое – это вся моя нелепая ошибочная жизнь... Все, что я делал за эти десять лет, не было ни делом, ни любовью, это была мелочная, грязная и жестокая жизнь внутри и исполнение какого-то выдуманного долга снаружи...»

«Человек 10 лет перестал красть, – отвечает Толстой, – и вдруг на 11 год говорит, что он ошибся. Да ведь в нашей и вашей жизни только та и разница, что всякая чистая рубаха, которую я надеваю, всякий кусок, который я кладу в рот – краденые, и мне больно и стыдно так жить, а у вас были не краденые и вам было не стыдно».

Письмо доброе, любящее. Однако Толстой еще не знает всего подтекста бунта младшего Ге.

В уже приведенном письме Рубана к Льву Николаевичу Толстому мы слышим тон пристрастной жа-

лобы на Николая Николаевича младшего. И не был ли тот памятный спор о революции и насилии вызван подпольным раздражением молодого Ге к Рубану, которого он всячески стремился поддеть?

Известно, что в 1890 году не Рубан, а Николай Николаевич младший возил Зою в Киев на операцию. Тяготящийся своей семейной жизнью и уже давно вновь начавший увлекаться интеллигентными женщинами во время своих поездок в Петербург к Бакуниным, в Москву, в Ясную Поляну к Толстым, Николай Николаевич младший не мог не заметить еще молодой, разумной, интеллигентной и, несмотря на ранние весточки увядания, очень интересной женщины, которая волей его отца оказалась на хуторе. Если Рубан, фанатически парящий в вышине разговоров о добре и зле, не замечал прозы жизни и жестокой эксплуатации своей жены, то Николай Николаевич с впечатлительностью, свойственной художественным натурам, не мог этого не увидеть. Как начались, как завязались отношения, можно только догадываться.

Но вот что пишет Толстой Черткову 19–23 августа 1894 года:

«...За это время был еще Количка. Его положение такое, что он сошелся, как он мне говорил, духовно с кузиной – женою Рубана, и два человека: его жена и Рубан – ненавидят их и страдают. Я ему говорил, что надо во что бы то ни стало уничтожить эту ненависть. А он говорит, что он не может этого сделать. Как он выпутается из этого, не знаю. Положение его очень трудное, но у него есть орудие для разрешения всяких трудностей: учение Христа, в кот[орое] он ве-

рит. Я рад был, что видел его, хотя свидание было тяжелое»⁷¹.

Значит, «Количка» верит, «Количка» опять верит в учение Христа?

Но вот что пишет Рубан Льву Николаевичу Толстому в том же августе того же года⁷²:

«Дорогой Лев Николаевич. У нас большое семейное горе. Между Колей и Зоей завязались половые отношения, которые не только не сознаются грехом, но признаются и ставятся идеалом. Отношения между семьями самые скверные и ужасные: глубокая ненависть, злоба, ревность, даже побои за ревность. Говорят, что Гапка в отсутствие Коли ночью окрестила детей и, вероятно, не даст их Коле и будет судом от него требовать средства для воспитания их. Коля же покупает землю в Одессе, чтобы там устроиться вместе с моим семейством и воспитывать детей своих и моих, не спрашивая даже меня, согласен ли я туда ехать и воспитывать своих детей. Во всех важных и неважных случаях они меня совершенно игнорируют. Держат себя спокойно, смело и свободно, не обращают внимания ни на что, ни на кого.

Когда кто в присутствии Коли заговорит о настоящем смысле жизни, он с насмешкой и презрением при мне, Зое и моих детях говорит: лучше публичный дом, бардель, чем эта ваша святость, имея в

⁷¹ Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т. М., 1937. Т.87. С. 284 (письмо № 382).

⁷² Письмо Рубана-Шуровского С.Г. к Толстому. Август 1894. Датируется по содержанию // Отдел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого (ОРГМТ). 182/97(2).

виду тех, кому дорого учение Хр[иста] и жизнь по нем...»

Ах, Николай Николаевич! Николай Николаевич! Ведь всего несколько дней назад он убеждал Толстого в своей неукоснительной вере в учение Христа!

А вот еще одно письмо Рубана Толстому, написанное через два года, трагическое письмо, в котором он себя чувствует окончательно выпавшим или, грубее, выброшенным из жизни Зои и Николая Николаевича.

«29/II 1896 года.

Дорогой Лев Николаевич. Содержание моего последнего к вам письма, в котором я писал об отношениях Коли к Зое, называя их плотскими – несправедливо... Недавно мне очень захотелось повидаться с ними и детьми и хоть чем-нибудь послужить им. С этим я поехал в Алушту, прожив у них больше месяца, еще больше убедился в их невинности и чистоте, но убедился также, что я совершенно лишний между ними, что не только не могу им чем-нибудь служить, но что один мой вид, угрюмый и мрачный, напоминающий отвратительное прошлое, действует на всех нехорошо. Виновность, одиночество и боязнь общественного мнения, обвиняющего не меня, а Колю и Зою, заставляют меня прятаться и страдать. Чтобы не встречаться с людьми, знающими нас, я удаляюсь от них. Знал я, что Коля ищет место в Крыму, чтобы поселиться там, и я, желая жить недалеко от них, год тому назад приехал в Крым. Занимаясь сапожничеством, я проживаю в одной русско-немецкой деревне. Часто я чувствую себя преступ-

ником, погубившим Зою и детей... Знаю я, что этого никак нельзя поправить, но может быть, в моем положении, возможно как-нибудь поправить себя, изменить свой дурной характер, или, лучше сказать, бесхарактерность...»⁷³

Не находя себе места от горя, ревности и одиночества, Рубан переезжает с одного места на другое. Мыслями он непрестанно возвращается к своей трагедии. В марте 1899 года он посылает Толстому наивный рисунок. На нем изображен мужчина, к которому подходит, низко наклонив повинную голову, женщина – его жена, возвратившаяся к мужу, а в дверях, в тени, виден тот, соединение с кем было ее ошибкой⁷⁴.

Рубана, потерявшего все, можно только пожалеть. А ведь истинная последовательница учения Толстого ни к кому не должна быть жестока. Но к Рубану Зоя жестока.

Она жестока к нему потому, что органически чужды ей всякая фальшь и ложь, и она не может преодолеть или извратить в угоду идее добра естественное отталкивание женщины от человека, которого она не любит.

Когда прошло время, осталось у нее, вероятно, лишь потаенное чувство вины. Не потому ли она никогда не вспоминала Рубана, никогда не говорила о нем детям и внукам, которые могли ее осудить. Ни одной его фотографии нет и в семейном альбоме.

⁷³ Письмо Рубана-Шуровского С.Г. к Толстому. 29 февраля 1896. Датируется по почтовому штемпелю // ОРГМТ. 182/97(4).

⁷⁴ По рассказу О.С.Кузнецовой.

И только один раз перед самой смертью, словно оправдываясь, упомянула она его в беседе с Надей.

А какова дальнейшая судьба Рубана?

Он переезжал с места на место, пока наконец не вернулся (не мог вернуться, скажем точнее, пока боль не притупилась) в свое родное село Прачи Борзненского уезда неподалеку от хутора Ивановского. Медициной почти не занимался. Тачал сапоги. Этим жил.

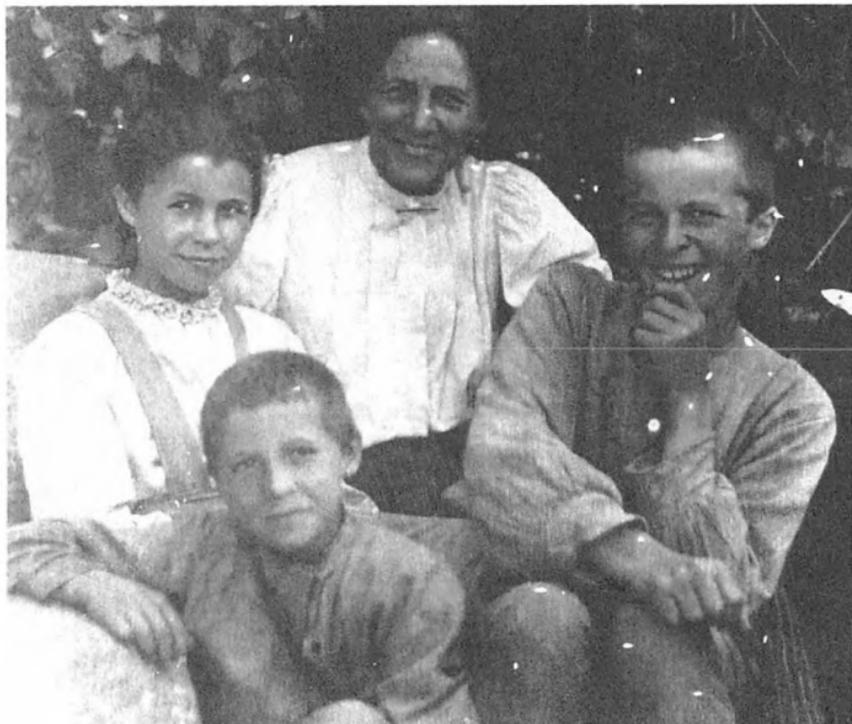
Вероятно, очень тосковал по своим детям, может быть, поэтому собирал вокруг себя молодежь. Играл на многих инструментах – гармонике, балалайке, скрипке, гитаре. Юноши и девушки пели. Вел беседы об учении Толстого, до конца дней неукоснительно следовал каждой букве его. Считал себя навсегда связанным с одной женщиной – Зоей и не переставал верить в ее возвращение к нему; не женился.

Умер он в 1920 году от тифа. Старший сын, Андрей, переписывался с ним.

Уголок

После смерти отца Николай Николаевич младший оставил имение брату, взяв в виде компенсации некоторую сумму денег, чтобы переехать и обосноваться на новом месте и оставить какую-то часть же-не своей, Агафье, которая детей ему не дала.

С момента их переезда в Алушту главным рассказчиком о жизни Зои становится ее младший сын, Севастьян. Уже на склоне лет он напишет свои воспоминания.



*Зоя Григорьевна Ге с детьми в Крыму в конце 1890 годов.
Слева направо: Надя, Севастьян и Андрей*

Есть еще фотографии тех лет.

Зоя. Уже нет мягких и плавных линий юности, черты лица стали резче, жестче, суше: это печать сильного характера, но ранние морщины, которым уже не стереться, ложатся рисунком доброты...

О Николае Николаевиче младшем Севастьян пишет: «Это был человек предприимчивый, легко загорающийся, непостоянный, вспыльчивый. С лицом веселым и открытым, любил рассказывать анекдоты, знал их множество, но не выдерживал серьезности, сам первый бурно смеялся им. Очень любил музыку, знал множество арий из опер, которые часто верно и мелодично насвистывал...»⁷⁵

В Алуште тогда строился «Профессорский уголок» (ныне «Рабочий»). Николай Николаевич со своей кипучей энергией и многосторонними способностями, в частности к архитектуре и строительному делу, стал брать подряды на постройку дач.

Первое время семья живет в татарской ступенчатой деревушке: крыша одна – двор другой. «С татарами мы жили мирно, – вспоминает Севастьян, – где бы мы ни поселились, у мамы всегда устанавливались со всеми дружеские отношения... Мама всегда умела чем-то незаметно помочь и советом и делом.

...Мы прожили полгода среди татар, затем переехали в “Профессорский уголок” на дачу Магденко. Там заняли одну комнату с террасой и крыльцом.

...Повседневная работа по хозяйству, к которой

⁷⁵ Воспоминания С.Г.Рубана. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой. Далее в тексте выдержки из них будут приводиться без специальных ссылок.

мама систематически нас приобщала, вечерние чтения и беседы, споры, импровизированные концерты, длинные прогулки, купанье в море.

Приезжали знакомые Николая Николаевича и мамы, приезжал Сулержицкий Леопольд Антонович – покоритель юных сердец, талантливый, душевный, всегда в движении, рисовал, пел, живо, образно рассказывал... Брался за любую работу, которую его просили сделать... С Николаем Николаевичем устраивали они друг другу каверзы. В море заплывали так далеко, что головы их казались булавочными головками, и там затевали борьбу, выкрикивая друг другу разные эпитеты».

В альбом вшиты воспоминания Зои Григорьевны о Сулержицком. Написаны они в 1897 году. Вот отрывки из них.

О Сулержицком⁷⁶

«Я проснулась как обычно рано, торопливо оделась и собиралась идти доить корову... В комнату вошел Николай Николаевич:

– К нам приехал Сулер, ты его знаешь?

...За завтраком он казался давним приятелем, рассказывал про свои путешествия и строил планы, что и как будет сейчас работать. Решено было приобрести бочку, лошадь у нас была, и он брался развозить воду на строящиеся дачи и этим зарабатывать свое существование».

⁷⁶ Воспоминания З.Г.Ге-Рубан. Рукопись. Архив О.С.Кузнецовой.

«...Разъезжал по дачам, иногда стоя у бочки, иногда шествуя около и распевая арии из разных опер. Вскоре перезнакомился со всеми дачниками... В белой матросской рубашке с засученными рукавами выше локтя, в белых штанах, закаченных выше колен, целые дни разъезжал он под жгучим солнцем, пел и болтал со всеми, а вечером в том же костюме... появлялся на даче Магденко, где его радостно встречало многолюдное общество... Рассказывал и пел приятным тенором, никогда не заставлял просить себя. Аккомпанировала ему какая-нибудь разряженная девица (все девицы поголовно были в него влюблены, вышивали ему на память и дарили мелкие сувениры), он же оставался в своем обычном костюме. Затягивалось за полночь. Затем все вместе шли гулять к морю или в горы.

Иногда встречи происходили в более интимной компании в большом старом сарае, где стояли стол и скамьи. На стене – фонарь. Называл Сулержицкий этот сарай “Хижиной дяди Тома”. Там он изображал в лицах наших дачников, животных и даже рыб... Сходство было схвачено поразительно, и все хохотали до слез...

В иные вечера, когда мы оставались одни, он бывал серьезным и даже грустным и вспоминал свою жизнь на границе Персии, куда был послан за отказ отбывать воинскую повинность.

Спал Сулержицкий где приходилось, большей частью на чердаке сарая, где было сено... Но иногда, если его место оказывалось занято и была очень плохая погода, или ему было скучно, он появлялся с одея-

лом и подушкой в нашей комнате, где спали трое моих детей, я и моя племянница, молодая девушка.

Происходил примерно такой разговор:

- Леопольд, мы спать легли, уходите!
- Вот еще! Мне здесь приятно и весело.
- Да вы мешаете, пожалуйста, уходите!
- Скажите, пожалуйста, чем я могу здесь мешать?

С этими словами он расстилал одеяло и укладывался.

И тут уже ничего не могло заставить его уйти. Приходилось смиряться.

...Утром он рано вскакивал, легко и ловко подбежал к умывальнику:

- Эй, команда, подымайся палубу мыть!

Далее спать было невозможно – призывы к утренним обязанностям матросов на морском жаргоне не давали не только погружаться в прежний сон, но хотя бы в дремоту.

Утро. Завтрак в тени высоких деревьев под окном комнаты Зои Григорьевны около большой клумбы. Все в сборе за утренним чаем. “Непрерывный смех за нашим столом то и дело привлекал гуляющих”, – вспоминает Зоя Григорьевна.

Сама хозяйка дачи, полная добродушная Любовь Александровна, утром обходит свое хозяйство, но вот она увидела Сулержицкого в расстегнутой на груди рубашке. Зоя Григорьевна приводит состоявшийся разговор.

- Как вам не стыдно! Вы бы постеснялись дам!
- Во-первых, почему я знал, что вы придете, а во-вторых, можете на меня не смотреть.

– Но вы ведь сидите за одним столом с дамой.

– Это вовсе не дама, а превосходнейшая женщина в мире! Ведь правда, Зочка Григорьевна?

– Ходите по двору, где такая масса молодых девиц!

– Да наплевать мне на ваших девиц, я человек занятой!»

...А вот лунная прекрасная ночь.

Усталая Зоя возвращается из коровника, задав коровам корм на ночь. Ей бы только кануть в сон, но не успела она лечь – на пороге – Сулержицкий.

– Давайте разговаривать!

– Я очень устала...

– Да неужели вы в такую ночь можете спать?

– Могу, могу и хочу спать!

– Такая ночь, а вы – спать. Я хочу поговорить. Ну, давайте поговорим!

Но Зоя засыпает. Несколько раз, просыпаясь, в полусне смутно видит она его фигуру, сидящую в проеме двери на пороге... Затем начинает светлеть, звезды гаснут. Сулержицкий сидит, он все еще не может расстаться с прекрасной ночью...

Проделки его были неистошмы.

«Работал он превосходно, – рассказывает Зоя, – когда не надо было возить воду, он работал со мной в огороде, а когда у меня однажды разболелся палец и я не могла доить, он стал доить и доил хорошо... чистил сарай, кормил лошадь.

...Осенью дачники стали разъезжаться, работы не стало, и Сулержицкий затосковал. Он решил опять отправиться в дальнее плавание».

Зоя описывает ночь, бурное море, пароход, шлюпку, которая пришла за пассажирами. Николай Николаевич расцеловался с Сулержицким:

– Ну, прощай, рыжая бородаща! – воскликнул тот.

«Сулержицкий уехал в Одессу, чтобы оттуда отправиться в дальнее плавание на восток. Но вышло иначе: из Одессы месяца через полтора он уехал в Москву, а затем состоялась его поездка с духоборами в Канаду».

Севастьян рассказывает об этой поездке:

«Сулержицкий обучал духоборов матросскому делу, так как пароход давали без матросов. Они были земледельцы, моря никогда не видели, их мучила морская болезнь.

Вернувшись из Канады, Сулержицкий со смехом рассказывал об этом путешествии. Позже он совсем обосновался в Москве, работая одним из первых режиссеров и постановщиков Художественного театра».

Крым

Но вот, построив несколько дач другим, Николай Николаевич берется за постройку своего дома в заросшей дикой каменистой балке выше дачи Магденко. Работают на стройке все: два нанятых рабочих-турка, Николай Николаевич, друзья и дети. Вечерами после работы Зоя читает детям Робинзона Крузо. Она уже тщательно отбирает книги для чтения, чтобы воспитание шло строго и целенаправленно.

Наконец двухэтажная дача построена, и семья переезжает в нее. Летом второй этаж сдается дачникам. Зоя берет их на полный пансион. Готовит она только вегетарьянские блюда.

«Все мои воспоминания о детстве в Крыму связаны с коровами, – пишет Севастьян. – Еще живя у Магденко, дядя Коля (так называли дети Николая Николаевича. – *Авт.*) купил красную ласковую корову Маньку, которая всюду ходила за нами... Мама научила нас с братом ухаживать за ней, кормить, поить, чистить стойло, позже и доить...»

Когда переехали в новый дом, уже стало две коровы – Манька и Настя. Мальчики их пасли. С раннего утра уходили они с коровами в лес.

Зимой коров загоняли в стойло, и можно было оставаться дома. Надо было заготавливать корм и дрова. И это тоже делали мальчики.

Весной начали обрабатывать площадки под огород и сад. Зоя не напрасно читала им Робинзона – эту поэму освоения дикой природы. Работая, они играли в него, поднимая трудную целину. А почва была – камни и камни... Но – посадили огород, посадили деревья – персики и кипарисы.

Никого не было наемного в помощь, только силам своей семьи. Но дети были еще малы, и львиная доля труда выпадала Зое, ее натруженным рукам. «Как у мамы хватало сил?» – удивляется Севастьян.

Учились дома. С детьми занимались Зоя и Николай Николаевич.

Занимались еще и приезжие студенты.

Затем приехала подруга юности Зои по Петер-

бургу Денисова Ольга Бенедиктовна, по мужу Навливкина, с детьми. И она стала заниматься со всею многочисленной компанией. Севастьян помнит, как вдруг на ступеньках террасы появился полицейский пристав. Все замолчали. В тишине он стал резко спрашивать: что это за дети и чем тут с ними занимаются? Это же целая школа, и на нее надо иметь разрешение!

Негласное наблюдение за Зоей еще не было снято.

Родительство

Воспоминания Севастьяна – это сверкающая под солнцем поверхность моря, под золотистой чешуей не видны темные толщи воды и глубинные течения. И о том, что они были, мы можем судить лишь по письмам Зои к Толстому.

Вот письмо от 23 сентября 1900 года:

«Дорогой Лев Николаевич.

Можно ли мне будет зайти повидаться с Вами? Я не стала бы у Вас попусту отнимать время, но вопрос, о котором я хочу поговорить с Вами и с Вашей помощью выяснить себе, так необходим для меня, что я решилась обратиться к Вам. Вот уж несколько лет я все пыталась сама разобраться в нем – но напрасно. Это – вопрос об обязанностях родителей по отношению к своим детям. Идя одним путем, я как бы сама привожу их на закланье, и мне здесь кажется что-то жестокое, во всех же других путях мне чувствуется фальшь, и эта неуверенность так тяжела

и дальше становится нестерпимой. В чем-то я тут путаюсь, и хочется мне прийти к Вам, Вы, наверно, увидите мою ошибку.

Любящая Вас Зоя»⁷⁷.

Зою мучает вопрос: имеет ли она право лишать детей образования. Живя в единении с природой той простой жизнью, к которой призывал Толстой (а он считал, что нужно только ремесло, чтобы прожить, и воспитание души), они образования не получают. И в этом толстовском пути ей видится, что она приводит детей на заклание...

Толстой отвечает, что его самого волнует сейчас сильней всего вопрос о воспитании будущего поколения. И далее: если дело, которое у нее к нему есть такое, что она может изложить его в письме, то пусть она лучше ему напишет. Толстой жалеет ее: это ведь не близкий путь из Крыма до Ясной Поляны или до Москвы, тогда еще не всюду были железные дороги. Пусть она напишет, и он обстоятельно ответит.

Отметим здесь появление той линии, которая на все дальнейшие годы ее жизни станет для Зои ведущей: безграничная любовь к детям, на которой отныне она фиксируется вся.

Это чувство ответственности сильного характера, чувство опеки, заботы, оно будет у нее все возрастать. Мать, распростершая крылья над своими птенцами...

Зоя непременно хочет повидать Льва Николаевича лично. Поехала к нему, и встреча состоялась, и со-

⁷⁷ Письмо от З.Г.Рубан-Шуровской (урожденной Ге) // ОРГМТ. Ф. 1, А-7. 182/99.

стоялся разговор, о котором мы ничего не знаем, кроме результатов его: семья переезжает в Швейцарию.

Сыграли роль и внешние обстоятельства: возможно, Зое стало ясно, что добиться ей разрешения на «проживание в столицах и университетских городах» будет не так-то просто, а разлучаться с детьми она не могла и помыслить. Кроме того, в русских школах детям обязательно стали бы навязывать официальный церковный «закон божий», чего Зоя, следуя Толстому, никак не хотела.

В 1900 году, после психической болезни умерла жена Николая Николаевича Агафья (Гапка), и наконец-то он мог взять к себе своих детей.

И опять – сияющая, слепящая поверхность моря – воспоминания Севастьяна.

Сперва уехали Зоя с детьми, Николай Николаевич еще остался улаживать продажу дома в Алуште.

Путешествие. Пароход. Поезд. Город. Все это для маленьких провинциалов – диво. Затем Швейцария.

«Замечательно красивая и благоустроенная страна, – пишет Севастьян, – одна из самых совершенных буржуазных демократических республик... В 1900–1913 годах Швейцария дала приют большому количеству эмигрантов и студентов из России, в особенности студентам-евреям, не имевшим возможности учиться в русских университетах».

Приехали к друзьям Толстого Бирюковым в деревню Онэ в четырех километрах от Женевы.

«У Бирюковых, – пишет Севастьян, – мы застали детей Николая Николаевича – Ваню и Колю. Теперь

у мамы было пятеро детей. Вечерами мама приходила к нам в комнату, читала или рассказывала. Она не делала разницы между детьми Николая Николаевича и своими, и Ваня и Коля привязались к ней, как к родной, тем более, что их мать не уделяла им той теплоты, что наша. Мы всегда стремились занять место рядом с ней, и я как-то толкнул Колю: “Это моя мама!” Усадив нас рядом, мама сказала: “У Коли нет мамы, и я ему теперь вместо мамы”».

Осенью приехал Николай Николаевич. Он снял около деревни Берне одинокий дом, и семья переехала в него.

Другая жизнь

Николай Николаевич работал в Париже, в Сорбонне, на факультете восточных языков, преподавал русский. Ему часто приходилось ездить из Швейцарии в Париж и обратно. Бывал он и в России.

С братом Петром Николаевичем они разделили картины отца: позднейший христианский цикл достался Николаю Николаевичу.

Однажды, рассказывает Севастьян, он привез с собой два больших ящика. В одном из них оказался альбом с репродукциями картин Ге, в другом – его «Распятие».

В 1903 году Николай Николаевич устроил персональную выставку картин Николая Николаевича старшего.

Вот что пишет о ней Надежда Константиновна Крупская:

«...Я видела эту картину потом в Женеве. Одиноко и никчемно стояла она в зале, и недоуменно смотрели на нее проходящие в шляпах и перчатках. И мне было обидно, я вспомнила ту обстановку, в которой видела эту картину, вспомнила своих учеников...»⁷⁸

В Женеве Зоя общается с политэмигрантами: В.Д.Бонч-Бруевичем, В.М.Величкиной, доктором Шапиро, Трегубовым, Н.А.Рубакиным и другими. Приезжает брат Зои – Григорий Григорьевич Ге, артист, забирает всех детей, устраивает им великолепную экскурсию по озеру...

А затем – впечатления пятого года... Уже отходящая волна выбрасывает на чужой благополучный берег разбитых бойцов революции.

Севастьян пишет: «Однажды к нам пришел скромно одетый плечистый человек. Это был матрос Матюшенко с “Потемкина”, он стал нашим постоянным гостем... Рассказывал о “Потемкине” и о своих мытарствах по Европе в поисках работы (после того, как корабль был вынужден сдать румынским властям). Иногда он брал гитару и напевал украинские песни. Наша большая семья была для него кусочком России, по которой он тосковал. Его мучило вынуж-

⁷⁸ Крупская Н.К. Избранные педагогические произведения. С. 29–30.

«Распятие» и более пятидесяти рисунков и эскизов Ге долгое время находились на вилле Gings у друзей Николая Николаевича в Швейцарии. В настоящее время (по непроверенным сведениям) «Распятие» находится в Лувре. Правда, моя дочь Оля видела «Распятие» в 1997 г. в Париже, в музее «Orsay» в зале натуралистов.

денное безделье. Дядя Коля предложил ему земли. Но ему нужна была не эта чужая земля, а его родная Одесса! Он достал паспорт на чье-то имя и простился очень сердечно. Мама посоветовала ему не показываться в Одессе. На прощанье он вручил мне свою гитару.

...Спустя три месяца мама получила письмо. Адрес был надписан не той рукой, что само письмо. Письмо от Матюшенко было очень сумбурно и написано наспех. Из него можно было понять, что он задержан и необходимо ему прислать бумагу, удостоверяющую его личность. Было неясно, что можно было сделать, как и что удостоверять.

...В Одессе Матюшенко был опознан и казнен...»

Вскоре появился и другой потемкинец – Коваленко Александр Михайлович – единственный офицер, оставшийся на «Потемкине» до его прихода в Румынию. Коваленко с помощью американского корреспондента, который снимал у Зои комнату, написал брошюру под псевдонимом «Анагност».

Но была и накипь. В Женеву приехал Гапон с молодой женой. «Дядя Коля привел его познакомиться с мамой, – рассказывает Севастьян. – Ты знаешь, Зочечка, что окно комнаты Гапона выходит на улицу. Иду я и вижу... он на зажженной лампе проявляет конспиративное письмо. На виду у всех! Ты понимаешь, насколько это неосмотрительно?»

Позже Гапон получил из России большую сумму денег золотом. Ему понадобился какой-то совет или помощь Николая Николаевича, поэтому дети и узнали об этих деньгах.



*Николай Николаевич Ге (старший сын художника)
с сыновьями и Зоя Григорьевна со своими детьми в Швейцарии
около 1905 года.*

*Стоят (слева направо): Коля (сын Н.Н.), неизвестная девушка,
Надя (дочь З.Г.), Ваня (сын Н.Н.) и Андрей (сын З.Г.).*

*Сидят (слева направо): Н.Н.Ге, Севастьян (сын З.Г.),
Зоя Григорьевна, А.Н.Рубакин (сын известного просветителя
и библиографа Н.А.Рубакина)*

И дальше рассказывает Севастьян: Гапон шел как-то с Николаем Николаевичем. Они зашли в одно владение, где на них кинулась собака. Гапон сунул палку в руку Николаю Николаевичу, а сам отступил назад. «Над ним еще сиял ореол искреннего героя, и было неприятно узнать это», – заканчивает Севастьян.

Еще перемены

Воспоминания Севастьяна проникнуты благожелательностью. Мальчик, а затем юноша замечает в людях в первую очередь хорошее. Он привязан к отчиму.

О Николае Николаевиче он пишет:

«Он был человек талантливый и беспокойный. Без него жизнь наша, мамы и детей, была бы совсем иной, и мы сами были бы не те. Если он и лишил нас отца, как однажды выразился брат мой, Андрей, то он был для нас как отец в течение всего времени совместной жизни и уделял нам свое внимание и любовь не меньше, чем своим кровным сыновьям, Ване и Коле, с которыми мы жили одной семьей. Благодаря ему мы смогли много увидеть и стать тем, чем стали. Часть радостного детства в Крыму и светлой юности в Женеве не могут быть забыты...»

Но с годами в Николае Николаевиче стала замечаться какая-то странная перемена. Интерес его все больше и больше сосредоточивался на самом себе, он стал замыкаться в какую-то жесткую скорлупу и, если прежде собственность для него не играла никакой

роли, заработанные деньги он не считал – как и куда они расходовались, то теперь стала появляться в нем какая-то мелочная скрупулезность...

Севастьян пишет:

«Когда ему было лет 50, он стал делаться постепенно черствым к людям и все больше проявлял свой эгоизм, причиняя страдания другим...

В 1906 году дядя Коля съездил последний раз в Париж. Он решил больше не преподавать русский язык в университете, так как неудобно было ездить туда и обратно. Но в Женеве он не подыскал себе работы и занялся сельским хозяйством...

...Прежней идейности у дяди Коли становилось все меньше, и с годами он черствел, а, занявшись хозяйством, он порой превращался в хозяина с узкими интересами собственника...»

И дальше Севастьян приводит один запомнившийся ему случай.

«Дядя Коля приобрел полоску земли рядом со своим участком и задумал засадить его картофелем. Нашелся и старичок в деревне Ланси по фамилии Тибо, который, не имея своей земли, вошел с дядей Колей в соглашение относительно обработки этой земли. Не знаю, на каких условиях они сошлись, но картофель был посажен. Вся последующая обработка, очевидно, была возложена на Тибо, так как он один приходил и целыми днями на припеке полон и окучивал.

Лето было сухим, земля оказалась твердой, сильно истощенной и очень засоренной сорняками. После долгих дней изнурительной работы Тибо пришел к

дяде Коле просить изменения соглашения. Они долго толковали, а дядя Коля не уступал. Мама попыталась вмешаться, но дядя Коля рассердился. После ухода Тибо мама со слезами в голосе говорила дяде Коле:

– Ты бы посмотрел на его корявые, изуродованные трудом руки! Неужели ты не можешь ничего изменить? Ведь земля оказалась твердой и заросшей, он же в этом не виноват!»

Но дядя Коля замкнулся.

«Условия остались прежними, – продолжает Севастьян. – Тибо ушел и больше не приходил. Мы тоже не пололи и не окучивали, а когда пришла пора уборки, копали картофель сами, без Тибо, и только для себя. Картофель был плохим, его было мало, а копать его было трудно...

...Все чаще между мамой и дядей Колей возникали длинные принципиальные споры. Они уходили в глубь сада и спорили, спорили. Иногда это длилось бесконечно, и среди их голосов слышалось то раздражение, то мамины слезы. Мы тогда не знали, что решалась судьба нашей семьи, что между образом их мышления и поведения в жизни возникли такие противоречия, что совместная жизнь стала невозможной.

Осенью 1906 года в Женеве была снята квартира на Авеню дю Майль, и мама и мы трое переехали в город, а дядя Коля с Ваней и Колей остались в Онэ.

Но это был не полный разрыв. Мы виделись ежедневно, и дядя Коля и Коля и Ваня приходили и оставались на весь день. Но каждый из них (и Николай Николаевич, и Зоя) поступал теперь свободно по

своей совести и своему разумению и жил на свои средства...

Из трех комнат мама сдавала две с пансионом и давала вегетарьянские обеды. У нас было 10–12 человек столоующихся студентов. На эти средства мы жили...»

Два письма

Жизнь в Швейцарии, по-видимому, вполне удовлетворяла Николая Николаевича. Ему претили в России ее порядки, точнее, ее беспорядок и отсталость.

А Зоя пишет Толстому:

«19 ноября 1904 года. Женева.

Простите, Лев Николаевич, что отнимаю у Вас время, но мне хочется знать Ваше мнение о мыслях, которые меня так тревожат, и так хочется услышать подтверждение или отрицание их, что я решилась, наконец, написать Вам.

Законно ли чувство любви к своей родине и к своему народу? Я очень понимаю интернационализм, очень близка мне проповедь Христа любви к ближнему, кто бы он ни был, но, думаю, особенно с тех пор как живу здесь, что все это не исключает любви к родине и народу, жизнь которого со всеми ее горестями так близка, знакома и понятна. Мне думается, что сила человека, готовность его страдать, приносить в жертву свою личную жизнь – в прямой зависимости от силы любви. Чем мы сильнее любим, тем больше мы готовы отдать себя. Могу ли я так же любить лю-

дей, которых я только что увидела и в жизни которых до сих пор никогда не участвовала, как тех людей, среди которых жила, заодно с ними страдала, где, если не все, то много понятно – и скорбь, и радость, и надежды.

Я вижу русских детей, здесь выросших – и все они обессилены, словно Самсон с обрезанными волосами, и горе в том, что волосы эти не могут отрасти. Они, думается мне, не могут так любить, они лишены этой творящей силы – стебли без корней.

И вот я задумалась, хорошо ли я сделала, что увезла своих детей. Авраам готов был принести в жертву своего сына – меня на это не хватит. Я увезла их потому, что мне жалко их было, но, думается мне, что этим самым я лишила их самого нужного – возможности той силы любви, которая необходима для настоящей жизни живой.

И не очень хорошо здесь. Под всей этой благоприятностью, приличием, чистыми блестящими манишками зачастую скрывается мерзость запустения, и, что противнее всего, – это самодовольство и отсутствие идеала. Временами нападает ужасная тоска – поэтому и решилась написать Вам – и знаю, что Вам некогда этим заниматься, простите ради Бога.

Любящая Вас Зоя Ге»⁷⁹.

Отсутствие идеала? Только ли? Не отсутствие ли еще и деятельности, направленной на осуществление этого идеала? Не говорит ли в Зое бывшая народвожка? И хотя Зоя пытается писать на языке Толсто-

⁷⁹ Архив О.С.Кузнецовой.

го о христианской любви ко всем, перевода не получилось...

Толстой отвечает:

«1904 ноября 22. Ясная Поляна.

Рад был получить от Вас письмо, дорогая Зоя Григорьевна, но пожалел о том, что Вы так иногда тоскуете. Одно мѣгу по опыту посоветовать Вам, это то, что когда тоска, то не искать ее причины вне себя. Она в себе, в том, что мы не ценим того, чем пользуемся: достатком, здоровьем (хотя относительным), семьей, любовью людей, вообще жизнью, не ценим этого, а хотим, чтобы было именно то, что нам хочется. Не думаю, что жизнь вне России лишила бы людей способности любить. Может быть, их чувства любви вследствие их жизни в чужой среде иные, но чувства эти зависят не от внешних условий, они внутри. Они и в Швейцарии найдут предметы для проявления своих чувств. Главное, что позволю себе посоветовать Вам: ничего не меняйте в своей жизни без настоящей нужды. И ищите блага в том внешнем положении, в котором находитесь. Сколько я знаю, Ваша жизнь такая, что ей трудно не завидовать, цените ее и делайте еще лучше. Колечку целую.

Любящий Вас обоих Лев Толстой»⁸⁰.

Зоя говорит об одном. Толстой о другом. Зоя не только запрашивает Толстого, но она делает решительный шаг к возвращению на родину: пишет про-

⁸⁰ Письмо к З.Г.Рубан-Шуровской (урожденной Ге) № 263 // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т. М., 1937. Т.75. С.187–188.

шение о снятии с нее ограничения, о разрешении ей проживать в столицах и университетских городах России. В 1905 году ей было это разрешено.

Однако почти гипнотическое влияние Толстого на Зою несомненно и огромно. Зоя остается в Швейцарии.

Стебель без корней

Жизнь Зои Григорьевны Ге...

До сих пор мне удавалось идти по следам этой жизни, опираясь на отдельные островки – несомненные документы и факты, связывая их наиболее вероятной психологической линией.

Но сейчас мы подошли к вопросу неопределенному: когда, как, почему могло быть написано письмо Зои к Николаю Завадовскому? Тут все повисает в пространстве. Тут нет ни одной опорной точки. Кроме того, что письмо БЫЛО, не известно ничего: ни год, ни месяц, ни число его, ни куда, ни откуда оно написано. Разве только границы времени: уже после женитьбы Завадовского, но, вероятно, еще задолго до его вдовства.

Для меня, как я уж говорила в главах о Завадовском, само письмо было психологической загадкой. Жизнь Зои ложится ясно, безо всяких безумных срывов, характер ее определенный, деятельный, очень сильный, чуждый сентиментальной мечтательности.

Странно было предположить, что такая женщина сама – первая – могла предложить мужчине съехать и соединить свои судьбы.

Понять мне это помогла внучка Зои, Ольга Севастьяновна.

– Для бабушки все условности ничего не значили, – сказала она, – «женская гордость», мелкое самолюбие и так далее. Если бабушка решила, что это было бы правильно, она могла написать так, помня, как он к ней относился.

Пожалуй, верно.

Ведь они оба принадлежали к неповторимому поколению, юность которого пала на восьмидесятые годы прошлого века. Это были особые люди, характеры, особые отношения. Люди, подчиненные одной идее, захваченные ею.

Но когда это могло быть? Вглядываясь в жизнь Зои, можно найти наиболее вероятный период написания письма, а именно, тогда же, когда было написано письмо Толстому или несколько позже – когда произошел фактический разрыв с Николаем Николаевичем. И это время как раз совпадает с временем, уже указанным выше: после женитьбы Завадовского, но задолго до его вдовства.

Потому что ключ к письму к Завадовскому лежит в письме к Толстому.

Вернемся к этому письму и повторим еще раз его подтекст.

Зоя пишет о своей тоске. И это тоска по настоящему, по единственно нужному и серьезному делу (можно уточнить – делу Добра в самом широком смысле), от которого она оказалась оторванной. Она живет в Швейцарии, но думает о России. Швейцария и Россия. Швейцария – одна из самых благоуст-

роенных буржуазных демократий Запада. И Россия, силой и невежеством народа удерживаемая в состоянии подчинения жестокой власти царизма. Россия, где если завязывается борьба, то идет не на жизнь, а насмерть, чаще всего кончаясь трагически и требуя полной самоотдачи и величайшей любви.

Об этой любви и пишет Зоя.

Она пишет об отсутствии идеалов в благополучной и процветающей Швейцарии, о поверхностности людей, выросших в этих благополучных условиях, о неспособности их понять трагедийность и глубину, которые она находила у своего народа и на которую целиком отозвалась в юности, когда целью и смыслом своей жизни поставила изменение его судьбы.

Веселыми, счастливыми, но поверхностными растут ее дети, не зная ни своего народа, ни его беды. Стебли без корней, говорит она о них, понимая под этим, что нет и не может быть у них, пока они здесь, той глубокой любви и преданности, тех серьезных идеалов, которые были в России у ее поколения. Можно ли оставаться беспечным и эгоистически благополучным здесь, в безмятежном далеке, когда свои особенные, трудные проблемы в России кровоточат по-прежнему?

И чем больше чувствует этот разницей – нынешней и прошлой своей жизни – Зоя, тем все чаще и чаще мысль ее возвращается к своей юности. Чем сильнее тоска по России, чем более одинока она с переставшим понимать ее Николаем Николаевичем, тем ярче ее воспоминания, тем чаще возвращается она

воображением к тем давним дням в Николаеве, когда жили они – она и ее сверстники – такой напряженной, осмысленной и высокой жизнью. Она вспоминает вечера в ее комнате, когда читали они запрещенную литературу, и философские доклады Ашенбреннера, и поручения, которые ей приходилось выполнять, но чаще всего, но больше всего вспоминает она друзей своей юности, милых, давних, но таких ставших теперь вдруг снова близкими. Так, отходя от высокой горы, мы словно видим ее вырастающей – все новые и новые, прежде закрытые ближними холмами, части ее появляются перед нашим взором, все полней в единое целое охватываем мы ее.

Друзья ее юности! Прошло двадцать лет. Что знает она о них? Смутно, что были оправданы на киевском процессе, что высланы из Николаева... Может быть, здесь, в Швейцарии, ей удастся узнать чуть больше: что Завадовский во Франции.

А может быть, было и так – ведь Николай Николаевич ездил в Париж преподавать, мог и он привезти ей внезапную новость:

– Угадай, Зоюшка, что я узнал! Мне говорили, что этот Завадовский, о котором, помнишь, ты мне когда-то рассказывала, представь себе, работает врачом в департаменте Марны!

Завадовский, Коля! Бурно охватывают ее воспоминания о нем. Едва пробивающаяся борода, преданные, прекрасные, чистые глаза... Петербург, близкая, верная дружба. Вот в ком она не сомневалась никогда! Он готов был за нее в огонь и в воду. Это было как скала, которая никогда не поколеблется, ни-

когда не предаст, на которую можно было опереться, ни о чем не тревожась... Разговоры на улицах Петербурга, когда он шел ее провожать, разговоры, которые невозможно было кончить, в которых они были едины, резонировали, где понимали друг друга с полупамятки.

И сейчас в ее тоске и одиночестве разве может он не понять ее, он, как и она, тоже заброшенный далеко от родины?

И Зоя запрашивает и узнает адрес и пишет ему письмо.

Что можно писать товарищу юности, которого не видел двадцать лет? Конечно же, расспросить о судьбе общих знакомых, друзей – где Степанов, где Кротов? Что он о них знает? И еще рассказать о тех, о ком знает сама, и о своей нынешней жизни. И о тоске, о тоске, которая не оставляет... – о России!

Но Зоя живет не для себя, она уже давно живет для детей, и она пишет о детях... Есть ли у него дети? И если есть – они растут французами? А вот она не может, не хочет, не имеет больше права оставлять их вне родины...

Письмо это, как мы знаем, страшно взволновало Николая Никандровича. И своей тоской по родине, которая отозвалась в нем его собственной болью, и тем, что он угадал, что он прочел между строк, что она одинока, что ей тяжело, что подле нее нет близкого друга...

Как мог он ей ответить? Только так же искренне и правдиво, как написала она, – рассказать ей свою жизнь.

Тут не могло быть ни потехи оскорбленного самолюбия, ни мести, ни тщеславного удовлетворения – все это было чуждо этим двум людям. Одно-единственное могло быть между ними – ПРАВДА.

И, возможно, было не одно письмо и не один ответ. Вполне возможно, что были в тот период письма. Письма, которые отзывались друг другу в резонанс... Потому, что в письмах Николая Никандровича не могли не прозвучать отзвуки того же одиночества, что и у Зои, той же не состоявшейся семейной жизни, того же полного переключения на детей. И, чутко уловив этот резонанс, это полное понимание между ними, эту одинаковость их судеб, чуждая предрассудкам Зоя, стремящаяся строить жизнь свою и детей в подчинении понятиям добра и разума, предлагает ему соединить свои жизни.

Но он был еще женат, и у него была семья. Семейная жизнь его не была счастливой и была нелегка, но он в высшей степени был предан понятию ДОЛГА, тем более, что болезнь его жены прогрессировала, и в этих условиях не могло быть и речи о расторжении брака.

Не исключено, однако, что они и повидались. У Завадовского тяжело заболел отец, и он ездил в Николаев. И в то же самое время – в 1908 году⁸¹ – не правда ли, странное совпадение? – в Николаев ездила и Зоя – тоже повидать одряхлевшего отца.

⁸¹ Год поездки Завадовского в Николаев (1895) в библиографическом словаре «Деятели революционного движения в России» дан неверно. По рассказам Альбины, это было уже при ее жизни, когда ей было лет семь, то есть в 1908 году.

Всполохи

Фон ли?

Зоя осталась в Швейцарии. Осталась в трех комнатах на Авеню дю Майль в Женеве, где две комнаты она сдавала жильцам, которых брала на пансион, и еще давала вегетарьянские обеды студентам.

Осталась у плиты, у примуса. Не имея никакой специальности, она могла зарабатывать на жизнь себе и детям только простой черной работой, только как кухарка, как горничная. Она не чуралась никакой работы. У нее были дети, им надо было закончить свое образование.

Но высокий полет ее мыслей, оборвался ли он у плиты?

Вот фотографии швейцарского периода. На первом месте везде – дети. Дети превращаются в подростков, затем в молодых людей. Главное, основное на переднем плане уже давно – их молодая жизнь.

На некоторых фотографиях есть и Зоя среди молодежи или сзади в тени, как фон их жизни. Вглядимся в нее. Вот она среди других, позади других. Загадочности, тайны, чуть насмешливого затененного взгляда ее юных лет, мягкости молодых очертаний давно уже нет. На каждой последующей фотографии – все более четкая определенность. Чуть опущенные внешние края век – этот необычайный рису-



*Зоя Григорьевна Ге с детьми в Швейцарии в 1910 году.
Слева направо: Андрей Григорьевич, Севастьян Григорьевич,
Надежда Григорьевна*

нок глаз – теперь уже видится как две черты: если мысленно продолжить их, они пересекутся над переносом. И все глубже, все резче прочеркиваются морщины – эта летопись нелегкой жизни. Это лицо сильного самостоятельного человека, энергичного и деятельного, которого никогда не одолеют никакие переживания, для которого всегда и прежде всего – дело. Дело добра для детей, для других людей. Никогда – для себя!

Вот что пишет Севастьян в своих воспоминаниях:

«В то время я не задумывался, как мама успевала всех нас обслужить, накормить, постирать, починить, в огороде поработать, с людьми побеседовать, книжку почитать, и была всегда в водовороте текущей жизни... Мы не были бездельниками, но мы все учились, и это было для нас главным.

Вот и теперь, когда мы переехали в Женеву, мама была целый день занята, а вечерами у нас постоянно шумел народ. Беседы были интересные, споры жаркие, мама всегда имела в них свое слово, свое твердое убеждение, с которым считались. У нас неоднократно собирались для чтения и обсуждения рукописей молодых писателей.

Бывали Хилковы, Островские, Семеновы, Зиновьевы, Бахи, Винниченко, Пулевич и другие. Кипел самовар и пили чай...»

И далее о себе и своих сверстниках.

Андрей кончил технический институт и нашел работу. Севастьян и сын Николая Николаевича, Ваня, заканчивали профессиональную школу.

«Моя дипломная работа была, -- пишет Севастьян, – построить гидроэлектростанцию, точнее рассчитать ее для постройки фуникулера на горе Салев».

Семья переехала в Пети Ланси в двух километрах от Женевы, в хороший маленький домик, увитый плющом. Здесь Зоя опять сдавала комнаты и брала на воспитание трудных детей.

Часто у них гостили студенты консерватории. Игнали в четыре руки, Надя пела романсы (у нее был очень хороший голос), или втроем пели в три голоса под гитару или без нее.

Севастьян пишет:

«Музыка никогда не покидала наш дом... Связующим, объединяющим и одухотворяющим звеном была мама. Лишь много лет спустя я это понял. Понял, что всем, что делалось у нас, всем тем хорошим, что приходило и окружало нас, мы были обязаны ей. Она была тем духовным маяком, к которому люди шли с лучшими своими мыслями и чувствами».

Отклик

В 1911 году в Женеву приехала Вера Фигнер. двадцать семь лет спустя они встретились с Зоей.

Вера Фигнер после двадцатилетнего заключения в Шлиссельбурге, седая, со строгим красивым лицом, и Зоя – некогда впечатлительная и вдумчивая девочка, решившая отдать свою жизнь без остатка борьбе за счастье людей, ученица, последовательница, поклонница Веры Фигнер, теперь тоже уже седе-

ющая, с глубокими морщинами на лице – печатями прожитой жизни.

И вновь, как некогда в юности, Вера Фигнер бросает клич, и Зоя тотчас подхватывает его: комитет помощи каторжанам России!

Вера Фигнер пишет:

«При участии А.Н.Баха, Зои Григорьевны Ге и бывшего члена Государственной Думы С.И.Аникина был основан комитет помощи, который работал до 1913 года»⁸².

Вот отрывок из уже приведенной рекомендации Веры Николаевны Зое Григорьевне Ге, написанной в 1934 году:

«Когда я была в Швейцарии, она (З.Г.) участвовала в работе комитета помощи каторжанам... вообще она откликалась на всякое революционное дело...»

Откликалась на всякое революционное дело! Зоя – между революцией и толстовством. Странно, противоречиво соединяя эти две, казалось бы, несоединимые вещи.

Но одна ли она соединяла их?

Вот что мы читаем в дневнике Софьи Андреевны Толстой от 14 января 1909 года:

«Сегодня я... переписывала новое художественное произведение Льва Николаевича, только что написанное»⁸³.

Тема – революционеры, казни и происхождение

⁸² Фигнер В. После Шлиссельбурга // Полн. собр. соч. В 7 т. Изд.2. Т.3. М., 1929. С.404–405.

⁸³ Речь идет о начатом Толстым 18 декабря 1908 г. рассказе «Павел Кудряш»; рассказ остался незаконченным.

всего этого. Могло бы быть интересно. Но те же приемы – описание мужицкой жизни... И, вероятно, дальше будет опозитизирована революция, которой, как ни прикрывайся христианством, Л.Н., несомненно, сочувствует, ненавидит все – что высоко поставлено судьбой и что – власть»⁸⁴.

А какова судьба Николая Николаевича младшего? Севастьян пишет:

«В 1912 году он уже не жил с нами. Принял французское подданство и занялся поставками из Швейцарии породистого скота в Россию.

В 1912–13 годах мама, а затем Надя, а позже и я уехали в Россию, не повидавшись и не простившись с ним...

Младший сын Николая Николаевича, Коля, заболел психически и умер в больнице. Старший сын, Ваня, на котором после смерти Коли сосредоточилась вся отцовская любовь Николая Николаевича, в 1914 году был призван во Французскую армию и нелепо погиб в самом начале войны от удара дышлом телеги.

Надя видела Николая Николаевича в последний раз в Москве в 1915 году, когда он приезжал навестить маму, а мама лежала в больнице с воспалением легких... Он сидел сгорбленный и грустный, опустив голову на руки. Мне же с ним встретиться тогда не пришлось».

Николай Николаевич вернулся в Швейцарию. В.Порудоминский рассказывает о нем, что в конце

⁸⁴ Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. Т.2. С. 118–119.

жизни он сравнивал себя с «неустроеннейшим из Ге» – с дядюшкой Осипом Николаевичем: «Я стал похож на Осипа Николаевича и занятия наши подобны»⁸⁵.

В Швейцарии еще оставался Андрей со своей женой Юлией Дивильковской⁸⁶. Когда в 1918 году и они собрались уезжать, Николай Николаевич воспринял это болезненно.

«Я думаю, – пишет Севастьян, – что... к старости он почувствовал себя очень одиноким, и Андрей оставался единственной частицей его прошлой жизни, с которой он не хотел расставаться. Он к нам был сильно привязан, но не в его воле было что-либо изменить.

...Мне бесконечно жаль... Он умер в Швейцарии и был бы рад встрече в последний час...»

Революция

Деньги на дорогу в Россию Зоя получила от Московского вегетарьянского общества (МВО). Учредители общества Чертков, Горбунов, Алексеев собирались открыть столовую, задуманную еще Толстым, для распространения вегетарьянства.

⁸⁵ Осип Николаевич Ге – брат Николая Николаевича Ге. Окончил дни одиноко, в конфликтах с окружающими, так и не найдя своего места в жизни. Жил одно время на хуторе Ге. Рассказывал Николаю Николаевичу младшему, что занят расчетами конструкции аэроплана. Подробнее об этом см.: Порудоминский В. Николай Ге. М., 1970.

⁸⁶ Дочь революционера, сестра советского дипломата Максима Дивильковского, который сопровождал Воровского на Лозаннскую конференцию.

«В результате довольно длительной переписки, – пишет Севастьян, – в которой маму звали участвовать в этой организации, а затем – заведовать этой столовой, мама приняла приглашение и в конце 1912 года уехала в Москву».

Вегетарьянская столовая помещалась в Газетном переулке в особняке княгини Шаховской.

«Столовая эта, – пишет Севастьян, – не преследовала прибыльных целей. Цены были низкие. Хлеб (черный, белый и докторский) и сахар лежали на столах в неограниченном количестве. Питались в столовой... студенты и малоимущая интеллигенция». Многие приходили с сумками и уносили бесплатные хлеб и сахар.

Зоя Григорьевна жила в маленькой низкой мансарде в общежитии девушек.

Вечерами Севастьян ходил со студентами к Миусской площади в Народный университет Шанявского, где читали лучшие профессора и куда вход был свободный и бесплатный. Какое-то время он работал в мастерской архитектора Щусева, который тогда строил Казанский вокзал.

В 1915 году Зоя Григорьевна тяжело заболела крупозным воспалением легких. После болезни очень ослабела, принуждена была оставить работу в столовой и уехать на юг, в Геленджик, где сестра ее Вера имела свой домик.

Зоя Григорьевна купила рядом с Верой украинскую хатку из одной комнаты с глинобитным полом. Приехал Севастьян, побелил стены, починил крышу, сделал мебель из отходов лесопилки. У него были

что называется «золотые руки». Он все умел и все мог.

«Я довольно беспечно занялся хозяйством, – пишет Севастьян, – расчистил участок, стал рыть колодец, но через полторы сажени оказалась сплошная скала».

Затем Севастьян стал работать на цементном заводе, принадлежавшем французской компании «Габбар». Старший механик уехал во Францию по мобилизации, Севастьян хорошо говорил по-французски, и его приняли на освободившееся место.

Весть о Февральской революции по телеграфу. Митинг, растерянность властей, не знающий, как себя вести, зачитавший телеграмму пристав. На митинге все партии – большевики, эсеры, меньшевики... Сумбур, речи, шум.

В Геленджике создается городское управление.

Второй митинг на Толстом мысу, на заводе. Зоя Григорьевна не смогла там быть – маленький Алеша, сын Нади, был на ее руках.

«Перед открытием митинга, – пишет Севастьян, – к нам подошел небольшого роста седенький старичок – народоволец Фроленко, просидевший 20 лет в крепости. Наш бухгалтер, эсер Сазонов, схватил его за руку, вывел на трибуну, произнес горячую речь... Фроленко говорить не мог – слишком волновался...» В ответ на бурные аплодисменты он неловко кланялся, улыбался...

Октябрьская революция. Первое время особых перемен не было. Управление стало называться Советом, национализации еще не производили.

В 1918 году приехал из Швейцарии Андрей с женой Юлией Дивильковской. Он тотчас взялся за восстановление разграбленной ремесленной школы.

Андрей привозит из Новороссийска кое-какие материалы и инструменты. Трудно со штатом, но и тут договорились: заводские мастера (работа на заводе фактически встала) согласились работать в училище. Денег нет – училище берет платные заказы в свои мастерские. Утром мастера работают над заказами, дети – их записалось более сорока – в классах. После классов мастера учат их в мастерских, затем, когда дети уходят домой, – снова выполнение платных заказов. Так училище само окупает себя, так находят средства платить мастерам, нет только средств оплачивать учителей общих предметов. И дети Зои Григорьевны берутся за дело бесплатно.

В конце 1918 года деникинцы захватили Новороссийск, а затем в Геленджике высадился десант.

Работы на заводе не стало. Кормила семью моторная лодка Севастьяна «Лусьяна» – Севастьян перевозил на ней пассажиров и грузы.

Деникинцев оттеснили. Жизнь начинает налаживаться.

Андрею предложили заведовать Отделом народного образования. Надя организовала при заводе детский сад и стала его заведующей.

На завод прибыл представитель ВСНХ и сообщил, что все цементные заводы объединяются в «Новоросцемент».

Геленджикский завод, как и другие, будет теперь возглавляться одним уполномоченным, вводится

единоначалие. Таким уполномоченным геленджикского завода рабочие избрали Севастьяна⁸⁷.

Новороссийск открыл кредит, завод получил деньги. Прибыл уголь. Когда частично удалось пустить завод, был праздник, радостно гудели гудки... Однако полностью восстановить завод не удалось, было очень голодно, никакого снабжения не поступало. Люди заводили коз, разбивали огороды, занимались кустарничеством, делали зажигалки, босножки. Севастьян уходил с рыболовецкой артелью за кефалью.

Частично работал лесопильный завод.

С заводской молодежью Севастьяну удалось отремонтировать один из пустующих барачков под Народный дом. Все свое свободное время он строил со своими молодыми помощниками сцену, перегородки, писал декорации, мастерил люстры. Надя готовила хор, режиссировала постановку пьес. Поставили с Севастьяном «Бедных людей» Гюго, некоторые пьесы Толстого. Организовали в Народном доме встречу Нового года. Деда Мороза изображал Севастьян с паклевой бородой. Сумели даже сделать маленькие подарки заводским детям.

Весной Надя сочинила музыкальную пьесу «Майские духи», в которой играли дети. Глядя на них из зала, многие матери плакали от умиления и радости. Пьеса имела успех: после заводского клуба она была поставлена и в самом Геленджике.

Эти спектакли запомнились их участникам и

⁸⁷ Позже о геленджикском заводе вышел роман Ф.Гладкова «Цемент».

зрителям надолго, как и заводской хор, организованный Севастьяном и Надей. О них вспоминали даже в 1951 году. В том году Севастьян и Надя с внуками посетили Геленджик. Они повстречали не только бывших участников хора, но и бывших маленьких артистов «Майских духов», в 51-м году уже пожилых людей. Яркие воспоминания не изгладились, детские спектакли эти казались промелькнувшей волшебной сказкой.

Быт был очень труден. Помогала изобретательность. Вера Сергеевна Ковалькова, жена Севастьяна, вспоминает, что, когда она впервые посетила семью Зои Григорьевны еще в глинобитной украинской хатке (затем переехали в квартиру при заводе), ее поразил огород: всюду было проведено искусственное орошение по трубам между грядок.

Зоя Григорьевна нянчила маленького внука, по вечерам обучала заводских рабочих грамоте. Надя работала в библиотеке, в детском саду и режиссировала пьесы. У Севастьяна, кроме заводских дел, Народного дома и приусадебного огорода были еще заботы о заводском подсобном хозяйстве.

«Когда на Тонком Мысу поспела коллективная пшеница, – пишет Севастьян, – от каждой семьи надо было послать человека на уборку. У нас только я и мама могли работать в поле. Но я был занят на заводе, и пошла мама. Она умела и жать серпом, и вязать снопы. Но ей было уже 60 лет, и я не могу себе простить, как я допустил ее работать в поле, да еще после перенесенного в 1915 году тяжелого воспаления легких.

...В двух километрах от завода была водяная мельница... В один из вечеров мы с мамой нагрузились нашей пшеницей и пошли на мельницу. Уже темнело. Когда с мешками еще теплой муки мы стали спускаться по каменной тропе, пройдя сто шагов, мама вдруг закашляла, и у нее из горла пошла кровь. Я испугался. Усадил ее на камень. Просидели минут 20, ей стало легче, я взял оба мешка через плечо наперевес, и мы тихонько продолжали спускаться. Я держал маму под руку, а она все волновалась, что мне тяжело с двумя мешками, и настаивала, чтобы я отдал ей ее мешок... Она всегда была такая, думала о других, забывала о себе.

Дома мы ее уложили в постель. Утром я привез из Геленджика доктора... Мама пролежала дней десять, ей стало легче, и она опять включилась в бесконечные семейные дела».

В 1922 году стало известно, что цементный завод больше не возобновит работы и что его территория будет использована под санаторий.

Семья переехала в Москву.

На этом воспоминания Севастьяна кончаются.

Есть еще воспоминания его жены, Веры Сергеевны Ковальковой – внучки известного ученого-востоковеда А.П.Берже. Они очень интересны, но не о том.

Москва опять

Главным рассказчиком о Зое Григорьевне становится ее внучка, Ольга Севастьяновна Кузнецова, которую Зоя Григорьевна воспитывала.

Но прежде фотографии. Вот Зоя Григорьевна в последние годы своей жизни. Подтянутая, прямая, с хорошей осанкой, в темном простом платье со строгим стоячим воротничком, отороченным кружевом. Волнистые, пышные, совершенно белые волосы заколоты сзади небольшим пучком. На фотографиях ее молодых лет этой пышности нет. Там сила густых этих волос стянута, укрощена. Только сейчас, когда они стали редеть, дали им волю. Лицо. Четыре резкие глубокие черты на нем: две – внимательные серьезные глаза, две другие – от крыльев носа вниз – черты скорби, усталости, раздумий. Строгое, суровое, даже замкнутое лицо. Вероятно, беспечный смех замирал на губах встречных на улице в немом безотчетном уважении...

После переезда в Москву Зоя Григорьевна опять – в 1924 году – стала заведовать вегетарьянской столовой. Но у нее прогрессирует туберкулез, и в 1927 году она ушла со службы.

Она поселилась в Афанасьевском переулке в одном доме с младшим сыном. У Севастьяна Григорьевича было две комнаты в коммунальной квартире на третьем этаже, у Зои Григорьевны – одна комната тоже в коммунальной квартире – на втором.

«В свободные дни вся семья обычно собиралась у нее, – пишет в своих воспоминаниях Ольга Севастьяновна. – Когда вся семья собиралась, а бывало это почти каждую неделю, то обязательно пели. Севастьян Григорьевич брал в руки гитару – подарок Матюшенко – и все пели хором русские и украинские песни. Петь в семье любили и пели так хорошо, что

летом под открытым окном собирались люди послушать».

После короткой передышки нэпа настали трудные времена. В коммунальной кухне, где у Зои Григорьевны стоял свой примус, раздавались сетования, жалобы, бесконечные сравнения с «мирным временем», как в те годы называли дореволюционную жизнь, когда можно было пойти к Мюр и Мерилизу, к Елисееву или Симонову и все купить и все достать, а ботинки стоили... и т.д., и т.д., а теперь то-то и то-то... Зоя Григорьевна не переносила этих разговоров. Она всегда смотрела выше мелочей быта, всегда жила «высокими общественными интересами и поэтому считала, что каждый должен поступаться своими удобствами во имя более высоких целей» – пишет о ней Ольга Севастьяновна.

И, вероятно, вначале она резко пресекала кухонных жалобщиков, но вскоре ей уже этого делать и не приходилось: стоило ей появиться в кухне, и разговоры эти тотчас смолкали – при ней перестали сметь.

«Люди побаивались ее, – пишет Ольга Севастьяновна, – но все без исключения уважали. Она была как бы общественной совестью, при ней старались быть лучше. К себе и людям бабушка была очень требовательна, но, несмотря на это, а может быть благодаря этому, люди тянулись к ней, искали у нее моральной поддержки».

Она не переносила нытиков, но всегда «готова была помочь тому, кому действительно было тяжело».

«В обращении с людьми она была в высшей степени демократична, – продолжает Ольга Севастьянов-

на, – с одинаковым вниманием она беседовала с людьми различного происхождения, образования и интеллекта, но симпатии ее всегда были на стороне трудящегося человека.

...Будучи обычно строгой и даже суровой, она в иные моменты становилась обаятельной, веселой и остроумной. Она увлекательно, с юмором рассказывала о самых, казалось бы, обыденных событиях, но умела также и слушать собеседника, и люди невольно раскрывались перед ней.

Она не выносила безделья и не терпела его в других людях». Сама она «трудилась до самого последнего дня своей жизни».

Ольга Севастьяновна рассказывает, как рисовала Юлия Дивильковская Зою Григорьевну. Рисунок этот не сохранится, но Ольга Севастьяновна хорошо помнит его и его идею, которую хотела выразить художница: одухотворенное, умное, интеллигентное лицо и большие натруженные рабочие руки...

И далее Ольга Севастьяновна пишет о своей бабушке: «Когда кто-нибудь жаловался, что ему скучно, то ей это было непонятно. Она всегда была деятельна. Она готовила к школе своих внуков – сначала старшего... Алексея, потом обучала и воспитывала детей Севастьяна Григорьевича... меня и Юру... Обладая в высшей степени развитым чувством долга, Зоя Григорьевна стремилась внушить его детям и внукам. Всегда во всем на первом месте должно быть исполнение своего долга...

Зоя Григорьевна презирала чрезвычайное увлечение нарядами и вещами, но одновременно внушала

нам бережное отношение к окружающим нас необходимым вещам, не уставая повторять, что в каждой вещи заложенный труд надо уважать... Летом, когда семья снимала избу в деревне, Зоя Григорьевна разводила огород, где мы, дети, должны были помогать.

Когда мне исполнилось шесть лет, меня перевели жить в комнату бабушки, и с этого момента я целиком поступила под ее опеку. Каждый день бабушка занималась со мной. Было составлено расписание уроков и установлен распорядок дня. До обеда шли такие предметы, как чтение, письмо, арифметика или французский язык. После обеда я должна была заниматься шитьем, штопкой, рисованием или учиться переплетать старые книги...»

А я читаю воспоминания Ольги Севастьяновны и словно слышу рассказ Альбины. Потому что очень похожее я уже слышала в Париже...

Нет, характеры этих людей были различны. Николай Никандрович был мягче, терпимее. Пристальный взгляд его не выпускал из поля зрения своих взрослеющих детей, но он давал им самим находить свои пути в жизни; Зоя Григорьевна стремилась заковать своих внуков в строго определенные рамки, дабы путь их в будущее лег безупречно прямой линией, с детства вычерченной ею для них.

В этом – различие. Но само чувство долга, высокие принципы, жизнь для других, служение добру, бесконечная демократичность, и отсюда – принятие революции, которая на первых порах демократичность эту принесла – все это у них общее. И сдержанность, и внешняя суровость, и презренье к хныканью,



*Зоя Григорьевна с семьей сына Севастьяна.
Слева направо: жена сына Вера Сергеевна Рубан
(урожденная Ковалькова), внуки Юра и Оля.
Подмосковье. 1929 год*

к белоручеству, к барству, и деятельная помощь действительно нуждающимся в ней, и глубочайшая правдивость слова и всей жизни. Никакой раздвоенности – монолитность, цельность.

Внешняя суровость и доброта. Но не всеядная доброта, а подчиненная строгим нравственным кредо. Человека, неприемлемого для нее, Зоя Григорьевна просто переставала замечать. Игнорировала.

Ольга Севастьяновна рассказывала мне об одной их близкой родственнице, женщине, выбитой революцией из колеи обеспеченной жизни, которая революции принять не могла и всячески высказывала это неприятие. Зоя Григорьевна не замечала ее. Если случалось им встретиться, лицо Зои Григорьевны становилось каменным, и она молча проходила мимо. Так она выказывала свое презрение к барству и реакционности, которые ей виделись в этой родственнице.

В семье вспыхивала тревога всякий раз, как происходили такие встречи.

Если родственница эта должна была прийти к Севастьяну Григорьевичу, все только и думали, как бы Зоя Григорьевна не поднялась наверх, как бы не допустить этой встречи. Нет, крика, шума, скандала тут вспыхнуть не могло. До этого Зоя Григорьевна никогда не опускалась. Она никогда не повышала тона, обладала феноменальной сдержанностью, и все противоречия и шероховатости, возникающие в семье, по установленной традиции затягивались молчанием. Чувств своих при Зое Григорьевне не проявляли.

Прививки

По понятным причинам биография Зои Ге, написанная ее внучкой, Ольгой Севастьяновой, в семидесятые годы, выдержана в строгих рамках отсутствия у Зои Григорьевны какого-либо сомнения в разумности происходящего. Но в конце восьмидесятых годов, когда я встречалась с Ольгой Севастьяновой, биография Зои Григорьевны была дополнена рассказами...

К Зое Григорьевне приходили толстовцы – дверь для них не закрывалась никогда. Это были люди, чаще всего одетые в простую крестьянскую одежду. Они старались тщательно обтереть сапоги, запачканные в грязи дальних дорог, но следы все равно оставались, и Зоя Григорьевна, дабы не было нареканий от соседей, вынуждена была вне очереди замывать пол коридора.

Чем могла и как могла, Зоя Григорьевна помогала им, оставляла ночевать в своей комнате, где не было другого места, как на полу. Происходили длинные разговоры.

Времена процветания подмосковной коммуны «Жизнь и труд» кончились. А как хорошо началось! Крестьяне, которые сперва относились настороженно к коммуне, стали приходить к ним за сельскохозяйственными советами, чтобы перенять их опыт. Коммуна снабжала Вторую Градскую больницу молоком, и в детскую память врезался рассказ из прошлого коммуны, когда возница (молоко возили на лошадях), опасаясь бандитов, взял с собой дубину, а

потом каялся перед всеми, какой же он непротивленец, если решил обороняться от человека, от брата своего, насилием, и выбросил дубину...

Затем настали трудные времена. Власти так притесняли коммуны, что она прекратила свое существование, ее члены перебрались в Сибирь и добились и там расцвета вновь организованной коммуны, но и там начались преследования. А в 1937 году пошли аресты.

Все эти разговоры почти не задерживались в детской памяти. Оля помнит только, что разговоры длились долго, и чаще всего, когда они происходили, Зоя Григорьевна отправляла Олю наверх – к отцу.

Зоя Григорьевна тщательно прочитывала книги, которые Оля должна была читать, и некоторые из них ей не давала. Эта задача усложнилась, когда Оля пошла в школу, но и тогда цензура не прекратилась. Если нельзя было исключить рекомендованную книгу, Зоя Григорьевна давала свое «предисловие», чтобы сделать Оле прививку против той ненависти, которая в ней проповедовалась.

Здоровье все более слабело. Зоя Григорьевна стала часто и подолгу болеть. Она гасла.

Вот отрывок из уже приведенного выше письма к Вере Фигнер, где речь идет о характеристике для Общества политкаторжан:

«...Если ты считаешь это возможным, то пришли мне собственную писульку. Я бы пришла к тебе, но очень слаба, но если это нужно, я как-нибудь сделаю...

Пожалуйста, ответь мне по адресу... Есть и телефон (дан номер), только у нас часто телефон занят, уж очень много народу. А как ты себя чувствуешь? Целую тебя. Прости еще раз, что докучаю тебе. Всего лучшего.

З.Г.Рубан-Ге».

В 1935 году Зоя Григорьевна получила персональную пенсию – 135 рублей.

Как ни трудно становилось каждое движение, но Зоя Григорьевна заставляла себя помогать семье. И ни на минуту не прекращалась ее духовная жизнь. Она хотела быть в курсе всех событий, и политических, и общественных, и семейных. До последнего дня своей жизни она внимательно читала газеты и слушала новости по радио.

Но Зое Григорьевне не удалось умереть в сознании благополучия и мира своей родины, как довелось Завадовскому. В 1941 году она была еще жива, еще четко работали ее разум, ее память. И удар 22 июня она приняла сполна со всею болью, на которую был способен ее глубокий и сильный характер. С этого дня она жила военными сводками. Она умерла в 1942 году, когда сводки эти еще не обещали близкой победы... Урна с ее прахом замурована в стене Введенского кладбища.

Эпилог

Между первыми встречами моими с Ольгой Севастьяновной и Николаем Николаевичем Кузнецовыми и встречами последующими прошло несколько лет. И когда после этих нескольких лет я снова увиделась с ними, я удивилась той огромной работе, которую проделали они за эти годы.

На зарисовке Григория Николаевича мы видим могилы Николая Николаевича Ге и жены его, Анны Петровны, под большими раскидистыми деревьями. Но деревья были вырублены и бывший сад Ге разбит на огороды. Ольга Севастьяновна и Николай Николаевич в свой летний отпуск поехали на хутор Ивановский, ныне хутор имени Шевченко, и нашли там эти могилы. Собственник участка, где оказались могилы, не запахал их, сберег – на хуторе жила память о Ге. Более того – могилы оказались в порядке. Школьный учитель, Цыганок Александр Силыч, тщательно ухаживал за ними, привлекая к этому своих учеников. И не только могилы оказались в порядке. Цыганок, как мог, организовал в школе и уголок, посвященный Ге, достал несколько репродукций его картин, рассказывал детям о художнике.

Ольга Севастьяновна и Николай Николаевич с огромной энергией подхватили это начинание. Ими

были заказаны в Третьяковской галерее и Академии художеств большие фоторепродукции картин Ге, собраны вещи, которые сохранились от Ге, скульптуры, посмертная маска, письма... С помощью Иваногородского совхоза удалось им добиться трех комнат в Доме культуры Ивангорода. Николай Николаевич Кузнецов по картине Григория Николаевича Ге сделал макет мастерской художника, отреставрировал мебель и предметы быта XIX века, которые родные, знакомые и просто «болельщики» пожертвовали музею. Все эти вещи оказались в самом запущенном состоянии, были поломаны, прогнили, отсутствовали детали. Понадобился огромный труд, чтобы придать им музейный вид.

Нина Георгиевна Ганина, та самая, которая когда-то откликнулась мне из Геленджика, внучка Веры – сестры Зои Григорьевны, – художница-флористка и график, сделала диораму хутора Ивановского, и на бархатной бумаге – пухом тополя – копию автопортрета Н.Н.Ге, а также копию картины Врубеля «Царевна Лебедь» (через некоторое время после смерти Ге на хуторе жил и работал Врубель).

Музей... Я вспоминаю слова Льва Николаевича Толстого, сказанные им в присутствии Лазурского:

– Я надеюсь, что когда-нибудь будет создан музей Ге, где будут собраны его работы...⁸⁸

А для меня явился откровением литературный архив Ольги Севастьяновны – его полнота, его систематичность, громадная работа, проделанная ею,

⁸⁸ Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 45.

чтобы восстановить переписку художника и его семьи, посещение архивов, музеев, литературных памятников. Все собрано, подшито, переписано от руки. Плюс к этому прекрасные семейные альбомы фотографий и воспоминаний, каждый из этих последних – самостоятельное литературное произведение.

Я написала Альбине про эти альбомы, про альбом фотографий. Точнее: я написала Альбине о жизни Зои – ведь вся жизнь Зои проходит в этих альбомах. Труженице Альбине я написала о труженице Зое.

Вот Зоя – молоденькая девушка, сидящая в нижнем ряду на большой парижской фотографии, смотрит слегка исподлобья – этот необычный ее взгляд, вдумчивый и слегка насмешливый, затененный густыми ресницами. Вот она со своей сестрой, Верой, – нежные мягкие линии молодого лица, а вот того же периода репродукция картины Репина – чуть поджатые уголки губ – задатки настойчивого и сильного характера. Жизнь на этом лице еще ничего не написала, она еще – нераспечатанный конверт, все еще впереди, все еще сбудется... Но ничего не сбывается. Первые строки, первые псчати жизни: Зоя в расцвете лет, улыбающийся взгляд еще прячет свои загадки, свою тайну, но около рта уже ложатся первые морщины, и уже ясно можно прочесть нелегкую ношу жизни. Труд, труд, труд и еще ответственность. Крепкий ствол дерева, который должен удерживать все. А вот первые седины, все более светлеют волосы, все глубже врезаются резец жизни – две наклонные во вне черты двух глаз, глубокие морщины на щеках.

Тайны уже нет, лицо все четче, определеннее, ноша жизни все тяжелей, все яснее проступает усталость.

Я рассказала Альбине повесть, написанную этими фотографиями. Ведь «все понять – значит все простить».

Это было последнее мое письмо Альбине, которое она успела еще прочитать перед своей смертью. Я была у внучек Зои Григорьевны. Ольга Севастьяновна испекла пирог с буквами «Н» и «З», что значило «Николай» и «Зоя» в память той большой дружбы – теперь уже столетней давности, которая связывала молодых людей и вот свела нас теперь – третье от них поколение. И еще я написала Альбине о той фотографии, которую я уже видела в Париже, фотографии на первой странице альбома среди родственников и близких Зои – единственной фотографии из друзей ее юности, которую она хранила до самой смерти. Фотографии юноши с мягким вьющимся пушком на подбородке, со смешинкой в напряженном взгляде, в крепко поджатых губах. Сто лет назад снимали с большой выдержкой, кто-то смешил Николая, и он еле удерживался, чтобы не расхохотаться...

Оглавление

Доктор Завадовский.....	5
Дело.....	52
Тюрьма и воля.....	74
Времена.....	94
Один разговор.....	116
Всполохи.....	149
Эпилог.....	171

Мира Мстиславовна Яковенко
Зоя Ге
Документальная повесть

Редактор *Ф.И.Смирнов*
Художник *И.П.Смирнов*
Корректор *Л.В.Петрова*

Подписано в печать 27.04.2006
Формат 70x100/32
Бумага офсетная № 1
Печать офсетная
Усл. печ. л. 11
Тираж 1020 экз.
Заказ 161

Отпечатано в ООО «Информполиграф»
с готовых диапозитивов

Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья»
127051, Москва, Малый Каретный пер., 12

**Издательство «Звенья» работает при поддержке
Швейцарской программы по правам человека**

Автор повести (хочется употребить здесь старомодное слово «повествователь») Мира Мстиславовна Яковенко (1917–2005) не профессиональный литератор, хотя немалую часть жизни отдала литературному труду «для себя». Оказалось, что не только для себя: ее повесть «Агнесса», выпущенная издательством «Звенья» в 1977 году, сразу пошла нарасхват у любителей мемуарной литературы.

Мира Мстиславовна обладала редким талантом: она умела искренне и полностью отдаваться своему интересу к людям, с которыми ее сталкивала жизнь. Этот бескорыстный интерес к чужим судьбам и полнота авторского самоотречения парадоксальным образом обеспечивают деликатное присутствие в повествовании личности самого автора и придают ее «записям» и «расследованиям» неожиданно сильное художественное измерение.

Возможно, именно самоотверженный интерес к людям и их судьбам привел М.М.Яковенко в Общество «Мемориал», где она проработала много лет, на внешний взгляд – на «незаметных», почти технических ролях. Но, как и в ее книгах, «незаметность» Миры Мстиславовны была лишь иллюзией, лишь одним из воплощений ее незаменимости. Это было понятно еще при ее жизни, это стало предельно очевидно после ее кончины. Мы помним Миру Мстиславовну именно такой, какой она воплотилась в своих повествованиях «о других», – самоотверженным, ответственным, бесконечно деликатным человеком. И мы рады не только изданию еще одной ее хорошей книги, но и тому, что за страницами повести читатель, возможно, сумеет разглядеть и Повествователя.

Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья»